



С У М Е Р К И

СУМЕРКИ

№ 2
1988

Сумерки - заря, полусвет: на востоке
до восхода солнца, а на за-
паде, по закате;
/вообще/ полусвет, ни свет,
ни тьма;
время, от первого рассвета
до восхода солнца, и от за-
ката до ночи, до угаснутия
последнего солнечного света.

/Владимир Даль. Толковый словарь
живого великорусского языка/

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПОЭЗИЯ ПРОЗА

О.Юрьев. Старые стихи.....	3
Б.Крячко. Морской пейзаж с одинокой фигурой.....	16
Наши гости. Журнал "Е - салон" /Москва.....	32
А.Бараш. Стихотворения	33
Н.Байтов. Стихотворения.....	42
Д.Григорьев. Голое поле.....	48
Г.К. - а.Колшаков	57
И.Ратушинская. Стихотворения	73
Ю.Синочкин. Воспоминания	84

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

Г.Святоц. Человек и его тень.....	96
С Днем рождения, Джон.....	108
В.Набоков. Другие берега /дополнения/	113

ЭТАЖЕРКА

П.Флоренский. Итоги	117
Б.Вахтин. Ванька Каин	126
"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ"....	155

Обложка: П.Никонов

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

Олег Юрьев

С Т А Р Ы Е С Т И Х И

составление редакционное

Кто уехал отсюда, тот останется жив.
 Кто останется жив, тот останется должен,
 Потому что увез от таможен и пошлин
 Под чужим языком слов немало чужих.

Кто останется жив, тот родит сыновей,
 Чтобы с птичьим акцентом они говорили
 О погибшей земле, о немеркнувшей пыли,
 Об отчизне своей, об отчизне своей.

1979.

...

Кузнец, что разворачивал обед
 у наковальни, в темноте и блеске,
 Был выделен из суеты и бед.

Его жена вела узор на блузке
 И, улыбаясь, думала: "Ну вот,
 Опять мой одежи станут узки".

Муж, горлом двигая, допил компот:
 Не сведши глаз с синеющей полоски:
 "Он будет лучшей из моих работ!"

Жена его черпнула слив из миски
 И вспомнила того, кто был обут
 Со звоном, по-кавалерийски.

Дым долетал из кузни за горою,
 Ждал меч Ахилл, ждала погибель Трою.

1979

. . .

Этот город не Рим. Мужеложцев пурпурные тоги
 Не овеяли стены его глинобитных домов,
 И не кралась впотьма~~д~~ по-мужичьему пьяные боги
 За фалерном согретым, на кислый плебейский дымок,
 Кучерявый отпущенник в тайной не плакал молельне,
 Угрожая укрытым туманом угасшим холмам,
 Будто лысого Кая статуя, луна в отдаленье
 Перекрестка зеленую тень не тянула в карман.

Это город не Рим. Золотое окно поднебесья
 Не кивало ему, даже если утихнувший цирк
 Разрывался внезапно и, щуплые щупальцы свеся,
 Угрожающе пел над коротким скрещением цифр.
 Даже если певец, прикорнувши у первой ступени,
 Вдруг отряхивал сон и ступал в полуденный огонь,
 За высокий порог, где дырявые мехи сипели
 И тянулась плашмя в золоченых наплывах ладонь.

Это Рим, говорю. Зазвенели небесные струны.
 Это Рим, говорю, потому что гадаю и сам,
 Не напрасно ль затеяли эту дурную игру мы —
 И прозрачно и холодно нашим витым волосам.

Это Рим, говорю... Стихоплета короткие руки
 Распластали края иссеченного ветром плаща;
 Это Рим, — говорю злomu идолу боли и скуки,
 Белоснежные чресла укрьвшему мехом плюща.

Кучерявый отпущенник мертвого Кая поносит,
 А певец полусонный для пасынка песню поет;
 Предпоследнюю чашу в трактире наследничек просит,
 И последнюю чашу родная земля подает.

В.А.Л.

Не отдавший все, что я обязан,
 С Богом не торгуя и собой,
 Я скажу: "Согласных хочет разум,
 "Гласные назначены судьбой".

"Как летали праотцы по крышам
 "Горбоносых и дырявых букв,
 "Так и мы - согласные напишем,
 "Гласные найдутся как-нибудь".

"А в согласных, все это в согласных,
 "Наша память, коль жива пока,
 "Наши ветви в платицах неясных
 "Да дороги красная строка".

"А в согласных, только воротить бы,
 "Только упросить бы не уйти, -
 "Тихие еврейские женитьбы,
 "Долгие стуженные пути".

"Косточка рассеянного сердца,
 "Камни отцветившей мостовой...
 "Скажет жизнь: "Пора бы вам усесться
 ""И подумать вашей головой",

"Как летит по снежным перелагам
 ""Время - перевиток свечой...
 ""Слышите? - согласных просит разум,
 ""Гласные сглотну я со слезой"".

. . .

Дождь по липе многоствольной...
 Сон нейдет, а мир обмок; -
 Жестки крылья, свет окольный
 Заперт на замок;

В мире тихо, - тихо, тише
 Тишины в виске; -
 Водяные мыши
 Шепчутся в песке;

В мире тихо. Пали крошки
 С Божьего стола; -
 Смотрят водяные кошки
 Из угла.

1981

. . .

Возились полный день, а вот уж и пора, -
 Тревожатся и старшие: "Что дети?"
 "Явились бы уже... как канули с утра... -
 "Вот вечер катится, сверкающий, как сети",

Мы, - камень и огонь; мы, - древо и вода;
 Мы, - воздух, свет и кровь; должны спешить - уж тёмно.
 Когда же побегим, - кто как и кто куда,-
 Песочница пуста останется, огромна

1982

. . .

О.М.

Ну а я - каб я жил под венец, под завязку,
 Под качение сердца вовне.
 Невесомой бы ночью на русскую Пасху
 Я бы в море ушел на челне.

И жестяный стесненный язык колоколен
 Провожал бы скольжение мое;
 От свободы сердечной я б сделался болен,
 Как и всякий, достигший ее.

От кого и к кому я не знаю дорога
 В тишине, вышине, глубине...;
 Лишь негромкое пение русского Бога,
 Отдаляясь, сопутствует мне.

янв. 1984.

. . .

Лучше ж бы потяту быть,
 неже полонену быть...

А в косых и высоких, сплошных небесах ни движенья,
 Лишь круженье зимы, лишь зиянье и жженье зимы...
 Как же так же прожить эту вечную ночь униженья,
 Как прожили ее, как прожили ее наши мертвые — мы?

Измождаясь лицом и разношенным телом грузнея,
 На нечетких очах чуть уменьшенный мир пронося,
 Как же так же прожить, ничего ни о чем не жалея,
 Ничего не прося, ничего-ничего не прося, не прося?

И ветшанья извечные вести, и чья-то свеча над могилой,
 И безжалостный голос, зовущий, сгущенно звеня,
 Все измышлено вчуже постылою тьмой полукрылой,
 Чтоб величье из ямы извлечь под ножи ледяного огня.

О косая высокая тень! — но и песни завести не успеть ей,
 Как ворчанье начнется, гуденье, жужжанье внизу...
 Вся Россия сойдись — лишь коснуться надгробья посметь ей
 Как навеки застыть с ледяною рукой на весу.

Но умершие выдут, смеясь, и взлетят меж морозных строений,
 Где по низу зима продолжает до выкреста мечь,
 И умершие скажут: напрасны и слава, и гений, —
 Только память и честь, — это все, что пока еще есть.

И умершие скажут: в косых и высоких, высоких могилах
 Мы лежим до скончанья, не помня высоких имен,
 И качаются звезды в бесчисленных славах и силах
 Над великою ночью несчастных, несчастных времен.

январь. 1984

. . .

Небосклон полуночи — в облачных изъянах,
 В треугольничках речных ржавеет вода,
 Птицы спят в своих корзинах, в черных, в деревянных
 И во сне клекочут, шепчут — тише, господа.

Нет, ни звука не раздастся на ночной ограде,
 Шпиц нечищенный, косой брезжит в небеса...
 Нет, но что же это там, в провлочном саде,
 Боже, кто идет сюда? тише — голоса.

апрель. 1984.

Детские стихи

День стоит каменоломней,
 дождик в странной едет мгле,
 Все огромней, да огромней
 Солнце мыльное в стекле.

Дождик ветхий, расщепленный,
 Как невидимый, шуршит...
 А во всех его зеленых
 Хрупких горлах искривленных —
 Горячо... легко... першит...

1984

жжжжж

Романс О.М.

В тот долгий час, когда, над садом лежа,
 Распахнут, недвижим,

Кольчужен филин; и седая кожа
Его невидима чужим;

В тот долгий час, когда прогнут водою
Наш плоский пруд;
И долго петь, и тяжело козодою
У острых козьих груд;

В тот долгий час, когда в печах блистают
Слоистые тела,
Два темных перышка в окошко залетают
И застывают у стола -

Вы слышите? - пытается скоститься
Вся гиблая вина
Лишь в этот час, когда седая птица
Бесшумно падает у вашего окна.

1981

На смерть Б.В.

Нитей желтых разжать и сжать
Продолжает под садом игру;
Собирает просторное платье
Человек, возвращаясь к ядру.

Все стоят небосводы цепные,
Все селенья во вдохе, во сне,
А в саду бессловесны портные,
Лишь дрожат их пустые пенсне.

1981

Вальс

Зеленые метры погонные
На невских, на венских плечах...
И сердца дубов заголенные
В морозных вздыхают печах.

Что, холодно, бедные?... Тесные
 Зеленые зубы скрывают...
 Военные щеки небесные
 Бубнят невпопад.

1982

. . .

Я жажду ласки и любви
 /Герой старинного романа,
 Что поломался-поломался
 И жаждет ласки и любви/.

Я жажду дома и семьи
 /Герой старинной пьесы чинной,
 Что потерпел от лавки винной
 И жаждет дома и семьи/.

Я жажду славы и добра
 /Герой старинной оперетты,
 Что выпал в лужу из кареты
 И жаждет славы и добра/.

1976.

. . .

Я куплю себе штаны из парусины цвета хаки
 И ботинки за пятнадцать тридцать пять и буду жить.
 Из окошек очень дует; серой суки-задаваки
 Я не вижу из-за дома, что уже пора сложить.

И уже пора рассеять даже память, даже память.
 Даже имя наше ветер унесет, унесет...
 Полустаёт на асфальте полусколота наледь, -
 Вы забудете, конечно, то, чего насчет.

... В стороне моей бензинной жить на полке магазинной
 Под брезентом и резиной никаких резонансов нет, -
 Заикавшийся картаво продавец, к концу квартала
 Нас оставивший, преставился в обед.

Идет по морю шаланда, в ней, конечно, контрабанда -
 Контрабандная команда из таких, как мы, -
 Нас, когда-то очень ценных, а теперь почти бесценных,
 И, естественно, бесценных, - не согнать с кормы.

Пахнет сутолокой сонной над каналом в дымной крошке.
 Ни друзей у нас, представьте, ни врагов, представьте, нет.
 Скоро родина, представьте, тоже кончится в окошке...
 ... Был один, продать желавший, да преставился в обед.

1979.

Mechanica Aetheris Nova

Земля есть диск меж полусфер дневных,
 Что превращаются в ночные крылья,
 Столь быстрые, что я не вижу их, -
 Все темный блеск, все кажимость бессилья.

Земля есть птица ночи. Днем она
 Покойно спит, себя обняв крылами,
 А ночью движется, - и не отклонена
 В движении своем соседними телами.

И более того - когда слабеет мах,
 В часы рассветные, в мельканий замедленье
 Смотри: спутники-все по прямой, впопыхах
 Все с той же скоростью, все в том же направленьи.

1982

• • •

Слышишь? — Звон скользит по кругу
 Мира неживого...
 Я любил любую муку
 Слова дрожжевого...

Слышу... Страх... Ошейник в небе?
 Или это лира?...

Кто сплет о черстве хлеба
 Неживого мира?..

апр. 1984.

Записка на погоне

Что я сказать смогу без спора?
 Кругла земля, она тверда;
 Щемящие щиты Боспора
 Опять тесны как никогда.

А там, на Севере полночный
 Костер катается во мху;
 Всей пустотой позвоночной
 Луна прикила ко штыку.

И кто же, кто же в чаще бродит,
 Бренчит железками из мглы?
 Не бес ли его в бездне водит,
 Небесные кося углы?

Не ангел ли его морочит,
 Украдкой верный путь торя?..

Боспор кипит, Боспор бормочет,
 По дну катает якоря.

. . .

Почто ты, царь, поставил тут столицу?
Так холодно, так сыро, так темно...
И дождь качает желтую страницу,
И мерный шорох просится в окно.

Не лучше ль было небо возле Ялты
Зачеркнутому подчинить кресту,
А тут бы жили хмурые прибалты
И белых кирх хранили высоту.

И я бы шел под липами сырыми,
Подмигивая окнам милых дам;
Ах нет, не там цари твои царили,
Россия, ах не там, не там, не там.

Ведь золоченый шприц Адмиралтейства
Сквозит мне в кровь, который век дразня.
Остановись, задумайся, прицелься —
Он всем тобольским ельникам родня!

Но если б в мире не было Сибири
И ссылку учиняли в Дибуну,
Каких бы стихотворцев мы любили,
Какою правдой были бы хмельны?..

1978

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ С ОДИНОКОЙ ФИГУРОЙ

Борис Крячко /в самиздате публиковался под псевдонимом Андрес Койт/ - родился в 1930 году. По образованию - филолог. С 1955 по 1973 гг. жил в Средней Азии. С 1973 года живет в Эстонии /сначала в Таллине, затем в Пярну/. Работал кочегаром в системе Таллинской ТЭЦ, в настоящее время - на пенсии. Рассказы Б.Крячко публиковались в газете "Молодежь Эстонии", в журналах "Охота и охотничье хозяйство", "Таллин" - 1983 № 5, 1985 № 5, 1988 № 2, "Радуга" - 1986 № 4.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ С ОДИНОКОЙ ФИГУРОЙ

Отмель делит реку от моря и уходит вдаль узкой косой. При отливе она вытягивается еще дальше, и река удлиняется вместе с ней до того места, что здесь называют "устья". Однажды сюда забрела лисица. Поселковые мальчишки гурьбой переняли ее бег и выгнали по косе на самую остроконечность. Там ей некуда было податься, и она, замочив лапы, неумело тьякала о пощаде, а может, знак подавала, что добром это не кончится. Так и вышло: начался прилив, и все кинулись назад, но добежать до суха не было часа. Лиса обогнала своих мучителей, но тоже не проскочила: море сомкнулось с рекой, и огненный лисий хвост просигналил беду последний раз, а детские голоса потерялись в зауспокойном крике чаек. Одного потом нашли в устьях, — нерпы у него нос отъели, а остальные так и сгнули без похорон.

Сюда мало кто ходит. Даже пограничники. Они воткнули столб за рыбокомбинатом, написали "Непроезд" — и все. А жаль. Здесь хорошо. Безлюдье, покой. Коса, что асфальт утрамбована, — не идешь, а несет тебя. Песок — солнце на небе рисуешь, да поярче, чтоб все внутри озарилось, — такой у него оттенок. От множества чаек он еще теплей на вид, потому что белое ладит и с желтым, и с серым, и с зеленым, а уж о голубом и говорить нечего — красота! Только мало здесь синевы, все больше серость. Зато воздух свежий до середины прохватывает: вдыхаешь кислород, выдыхаешь мысль, которой родиться тут без помех самый момент: простор — сколько глаз хватает, порядок кругом первоначальный, и прибой шумит специально для тех, у кого нервы сдали.

Нервы у дяди Коли в пределах, а возможно, их у него и вовсе нет. Сюда ходить он не боится, потому что время знает, но в смысле "Скажите, пожалуйста, который час", а просто: когда прилив, когда отлив, когда луна днем, когда ночью. По ночам он тут, конечно, не шляется, — занят, да и днем не всегда, а так, если в делах перебой выпадет. Вот он миновал столб и идет, глядит под ноги, а движение волн по обе руки мешает определить, то ли дядя Коля от поселка уходит, то ли поселок от него уплывает. Он не оборачивается, и ему со спины не видно, какой поселок невзрачный и захудалый, если на

него с приволья взглянуть. Он, точно, и вблизи не лучше: на зиму в снег зарывается, как крот в землю, а в другое время стоит обшарпанный, дикий и похож на заброшенную деревяню, если бы по трем его улицам не сновали люди, не брехали собаки и не смердело бы тухлой рыбой от тамошнего комбината. О месте своего жительства люди говорят кратко: "Чтоб ему провалиться!", и у кого ни спроси, все вот-вот уедут на материк, в мягкий климат, в культуру с удобствами, потому, дескать, и не обзаводятся ни машинами, ни обстановкой, ни постройками, — ничем. Да все как-то не уезжают, мешкают, откладывают вначале с года на год, а там и вообще.

Один дядя Коля не едет. А куда ему? Трудоустроен, на хорошем счету, работой не брезгует, не отнекивается, все у него путем, — чего еще? Начальство им довольно: в отпуск не ходит, компенсаций не клянчит, не болеет, не пьет, просьбами не докучает и трудится круглосуточно: днем плотничает в мастерских по судоремонту, ночью там же контору сторожит. Товарищ Бурлаков ручается, что другого такого, как дядя Коля, поискать: и неграмотный, то есть ничего из секретных документов прочитать не умеет, и безотказный на-совесть! вели ему сто лет не отходить от сейфа — не отойдет", а в сейфе ничего секретного сроду не водилось, если не считать питьевого спирта.

Вот только не наш он. Будь он наш, ему бы цены не сложить, но он иностранец. У него и паспорта нет, а есть вид на жительство, поэтому в выборах он не участвует и собраний не посещает, да и все говорят, что, ежели он пропадает ни за копейку, спрос за него еще меньше, чем за чужую печаль. Уж на что профсоюз — дырка, а он и там не состоит. Значит, и пенсия ему выйдет, когда состарится, тридцать дней в месяц или что-то около того. Пенсия — это что! Он о ней не беспокоится. Ему главное работа. Он так и говорит: "Работа есь — хороeso есь, работа нет — хороeso нет". И с людьми он побалагурить не прочь, да с ним толковать — не очень-то потолкуешь, особенно про политику. За него и в ведомости другие расписываются, потому что — темнота. Правда, со стороны даже не подумаешь: приличный, аккуратный и стружкой от него березовой навевает, будто после парной с веником.

В поселке его знают. Тут он как дерево в грунте: семья, шестеро детей, — куда ему, хоть от них, хоть с ними? Нет, он

здешний, постоянный и очень давнишний. Как занесло его сюда после войны с мигуками, так он и по сей день живет. Мигуки — американцы по-корейски. И он с ними воевал, потому что сам кореец. Вообще-то, никакой он не Коля, это его так в поселке кличут, а настоящее имя у него — Ким Бог Знает Как. У них там все Кимы. Президент тоже Ким, — они его зовут "папа". Если у них спросить, к примеру, сколько у президента детей, они говорят: "Мы все его дети" и через плечо по привычке озираются.

Лицом дядя Коля, кого ни встретит, весело морщится, точно от сильного света, хотя какая тут погода? — пасмурь, мгла и ничего больше. Просто настроение у него всегда одинаковое. Еще он говорит: "Денди есь — хоросо есь, денди нет — хоросо нет". Можно подумать, что у него деньги не переводятся, но это не так. Лишку у дяди Коли не водилось в помине, — опять же семья, ~~кормить~~ кормить надо. Короче, — неизвестно, отчего он веселый, но, может быть, от характера.

А характер у него такой, что другому и на ум не придет, будто он мог на войне кого не то чтоб убить, а даже оцарапать. Но у него есть медаль за храбрость, и он рассказывал через пятое на десятое словами, остальное пальцами, как дело было. Самолет сбили, и из него мигук высыпался с парашютом, — прямо к ним. Его можно было потом обменять на целый десяток таких, как дядя Коля, но это было неинтересно и мигуку отрезали голову. Сам дядя Коля не резал и даже пальцем не дотронулся, но все кричали "Смерть мигукам!", и дядя Коля кричал изо всех сил, потому что многих за это наградили и его — тоже.

Он не любил мигуков. Папа Ким говорил, что это из-за них в стране мало собак и риса, а скоро и вовсе ничего не останется. Зато, мол, если дядя Коля возьмет верх, досыта будет всем того и другого, а героям пообещал отдельные псарни. Дядя Коля поднатужился и, то ли взял верх, то ли нет, но вместо победы получился мир, и папе нечем стало кормить семейство, хоть расшибись. Тогда папа сказал, чтобы те, кто блажит есть доотвала, ехали в Советский Союз, о котором он договорился, а там всего вдосталь, — что собак, что чего хочешь. Корейцы послушались и поехали. Много-много поехало. Дяде Коле в то время не было и тридцати, а жениться раньше тридцати нельзя, так что он был не только веселый, но и холостой. Подумал он, подумал

и законтраковался на полную десятку. И очутился в поселке.

С тех пор больше двух десятков прошло, а он все здесь. На родине о нем никто за годы не почесался; туда сообщили вовремя, что его нет в живых — и дело с концом. Если бы теперь папа Ким спросил: "Где мой кадр? Где дядя Коля? Что он поделяет? Ну-ка предоставь^т его, как договорено", ему бы ответили, что никакого дяди Коли мы знать не знаем, что дядя Коля скончался на первом еще году от обжорства и не только скончался или похоронен, но даже сгнить успел — вот как. Что тут придумаешь? Кто врет с утра, тому полагается врать до вечера.

А он не скончался. Он идет по косе и чаек ему на пути попадает все больше и больше. Им не нравится, что дядя Коля сюда пришел. Они ему, конечно, уступают, но с таким трезвоном, — хоть уши затыкай, а он, знай свое, идет, пока не останавливается, будто споткнувшись. Потому что прямо перед ним валяется на песке большая рыбина и сонно поводит жабрами. Это кижуч. Царская рыба кижуч, не рыба, а загляденье: чешуя серебром льется, плавники радугой играют, хвост от русалки, да любоваться некогда, так как гибнет она и, ни у кого не спросясь, еле дышит.

Дядя Коля влезает пятерней в жаберную пройму и волоком тащит рыбу к воде; весу в ней полтора пуда, и на руки пусть ее не берут, кого после тройной ухи особливая жалость к природе одолевает. Подгадав промежуток между вздохами водяного царя, дядя Коля бросает кижуча и бегом бежит от прибоя, а затем следит издали, как рыба, несколько раз перекатившись, приходит в себя, как она в воде устаивается и как ползет позмейному вдоль косы ко речному гирлу. Беременная самка это. Самцы, те поглубже идут, а у этих брюхо зудит от икры, и они скребутся, ко дну прижимаясь. Здесь их отлив и прихватывает птицам на потраву.

Если взять ножик поострей и полоснуть такую рыбу по брюшине, из нее сразу же бесплатно вывалится до двух килограммов красной икры, той самой, которая деликатес. Икра помещается в двух чулках из прозрачной плевы, с виду целофановых. Брать плеву в рот — ни-ни. У командора Беринга кто-то, говорят, из команды в здешних местах на тот свет убыл по неопытности. Сперва икру продавливают сквозь сито с подходящими

ячейками, чтобы плева осталась, а зернь проскочила. Потом еще раз. Потом дважды моют на скорую руку и заливают соленым раствором. Минут через двадцать, от силы — полчаса, образуется всем известное по картинкам яство, каким нынче питаются, дай Бог здоровья, правительство, космонавты и за рубежом.

Икру дядя Коля, конечно, употребляет за мое почтение, но на косе у него напрочь отшибает аппетит, как у повара, когда тот, в кухне стряпая, нанюхается всякой всячины. Вдобавок у него еще и вкус извращенный: он считает, будто красивая женщина та, что на сносях, и ничем его не разубедишь. А насчет кижучей он может подробно рассказать, даром что слов у него, если сотня наберется, то хорошо.

Для начала он одной рукой показывает на рыбу, другой чешет живот и быстро-быстро лопочет по-корейски. Это понятно. Потом он круглым жестом захватывает подмышку море до самых устьев и, поочередно ткнув перстом в рыбу и себе в рот, начинает двигать челюстями, точно жерновами, и зубы у него скрипят, будто гвозди перетирают. Резко оборотившись к реке, он вдруг прекращает жвачку, запечатывает рот ладонью и убедительно мычит, показывая, что в пресной воде кижуч перестает есть. Затем его кривой грязноватый палец чертит линию вдоль по реке, за поселок и выше, и круто забирает в тундру. При этом дядя Коля привстает на цыпочки: рука наотмашь, пальцы растопырены и любому ясно, что за поселком рыбы свернут в протоки, каждая в свою, и разбредутся по рукавам, каждая в свой, а рукавов этих побольше, чем у него пальцев, когда он аплодирует. Перекаты там вовсе гиблые, воды местами по дядиколину щиколотку и рыбе плыть по такой воде — уфф! Он таращит глаза, пытит, работает локтями и делает вид, что задыхается. Лицо у него вытянуто, скулы пропали, и он почему-то похож на европейца, а не на рыбу, что ползет по камням, наполовину из воды высунясь.

Наконец трудности перебороты, и рыба входит в ту заводь, где сама когда-то их икринки проклюнулась. Отдохнув и поднакопившись, она затевает свадьбу. Что творится! Вода в заводи, как в котле. Дим-дади-дум-дум! дим-дади-дум!... Манипуляциями, ужимками, прыжками и телодвижением дядя Коля показывает, как это скопище пляшет, бесится и трется друг о друга. Потерев ожесточенно руками, он сначала пристраивает ладонь к

собственной заднице и отмахивает ею наподобие плавника, а после этого перемещает руки на срамное место и воображает себя писяющим вкруговую с разбрызгом. Это вот что означает: женщины мечут икру, мужчины поливают ее молоком. А дальше... дальше дядя Коля закрывает глаза, безвольно роняет руки, сгибает колени и едва не валится замертво, как рыба, которая подыхает тут же после свадьбы. Если ему не поверить, он достанет нож, порежет мягкость у запястья и, вновь приладив ладонь вместо хвоста, начнет помахивать ею и кропить землю кровью, чтобы всем воочию было, как рыба, выметав икру, истекает до капли... Такой он краснойбай, дядя Коля.

Он спугивает на ходу скандальных чаек и угадывает, что впереди еще одна такая же русалка, — больно уж птиц там собралось, песка не видать. Птицы кижуча раньше срока не тронут. Они знают: вот эта блестящая туша так может хвостом огреть, что кишки вон, и инстинктом ждут, когда рыба заснет наверняка. А дядя Коля вмешивается, и они громко бастуют, взмывая над ним, как пух из разорванной перины.

Чаек дядя Коля тоже едал, но они жесткие и вонючие и их надо сутками в укусе вымачивать. Впрочем, это давно было, когда он только-только в поселок приехал.

Их привезли по большой воде на пяти кунгасах, крытых брезентом. Люди подумали, что уголь на зиму, а оттуда корейцы выскочили за малым не триста душ и как один — мужики. То-то было радости, то-то волнений! Поселок позабытый, население — почти одно бабье с рыбокомбината, не жили, а рассказывают, куски сшибали: хоть встречный, хоть заразный, хоть кто, лишь бы в штанах, и вдруг — нате вам, бабоньки. Мигом разговелись, за неделю замуж повыходили безо всяких формальностей, за год детей понарожали, немного, верно, раскосых, но шалых, светлоглазых и, главное, крепких. Тогда же подметили, что свальный блюд в поселке сошел на-нет, остался один только любительский, а выручка от продажи алкоголя против прежнего оставила желать хоть бы какого-нито выполнения.

Гуртовые загулы, конечно, происходили, но уже либо по годовым праздникам, либо невзначай, как с кепом Манько, хотя случай этот совсем особый. Тогда зима была, штормило крепко, и из шести колхозных сейнеров пять, заколодев ото льда, сыг-

рали на море "оверкиль" вместе с командами. Один лишь Манько привел свой айсберг в устья и сел на мель, откуда его и сняли, подпорченного умом. Его бы сразу в желтый дом на перекладных сопроводили, но народ не дал, пока кеп не пропил сберкнижку с героической звездочкой и не осточертел своей сумасшедшей песней: "Сидор прынет, рыба вянет, Черное море - корыто". Хотя, приключилось это уже после приезда дяди Коли и к делу относится не сказать, мимоходом, но, в любом случае, наперед.

Сначала корейцев разместили в черных бараках для сезонников, и они за несколько дней переели почти всех поселковых трезоров. К ним сразу же прискакал митинговать Зуек из райпушнины. Он ходил по баракам, тряс для вразумления собачьим хвостом и призывал: "Шкуры отдайте, гады. Отдайте шкуры", а ^{корейцы кричали искомой и это-то дружелюбно бормотали: не} то собаки голые по улицам бегали, не то они их, обрив, скушали со шкурой. Так он от них ничего и не добился, Зуек. Впоследствии они перешли на рыбу и на свинину, которая там все одно, что и рыба, поскольку свиней рыбой откармливают, а собаки вновь расплодились и, не помня зла, якшались с корейцами без дискриминации. Однако и данный факт из жизни животных помянут загодя, потому что раньше все-таки состоялась коллективная женитьба.

Их разбирали поштучно. Приходила немужняя молодуха, обсматривалась улыбисто, перебирала, как на базаре, манила рукой, - пошли, мол, - и вся недолга. Дядю Колю выбрала Натаха комолая, но его у нее отбила Кланя-лярва. Дядя Коля уже совсем было собрался с Натахой, но Кланя закричала: "Эй, ходя! С кем идешь, - ты! Глянь лучше, какие у меня ноги красивые!" и заголилась. Дядя Коля глянул, а ноги под Кланей оказались, действительно, ничего себе, да и лицо не корявое, так что участь его решилась в один погляд. Все смеялись и корейским хором орали ему с Кланей вдогонку здравицу, очень похожую на "Гоп, гоп, до того!"

Натаха и сама без мужа не осталась, другого взяла, не хуже дяди Коли: что непьющий, что понятливый, что работающий. Он даже сам к ней напросился, когда она от обиды расплакалась: подошел, за руку тронул и на себя показал, а она ему засмеялась сквозь слезы. Им тоже "Гоп, гоп" кричали, еще громче, чем лярве с дядей Колей. Натаха своего потом жалела, как ни одного мужика, и ходил он у нее обстиранный, гладкий, да

с таким еще под ручку гонором, что в самом деле подумаешь — любовь. Жили они душа в душу, и Натаха отблагодарила его четырьмя детьми.

Что до Клани, то у нее раньше этого было двое: один от главного инженера, другой от райкомовского инструктора, и замуж ей надо было ужас как срочно. Вот она и разжилась дядей Колей, хотя привычку свежака хватать так и не бросила, до самого до конца гуляла. Дядя Коля смотрел на ее проделки сквозь пальцы и всех детей без разбору сгребал к себе, не заботясь, кто от кого, потому что в замужестве Клани третьего родила от заезжего судомеханика, двух близнецов от дяди Коли, а шестого — девочку — страшно подумать! — от мигука. Дядя Коля вынянчил эту американочку в конторе по ночам с такой кротостью и терпением, словно знал о жизни нечто более значительное, чем все кланины шашни, но был бессилён рассказать об этом в своей колыбельной:

"Сипи, сипи, доси,
Сипи, сипи, Нади,
Твоя папа — хоросо,
Твоя мама — бряди".

Может, оно бы ничего и не стряслось, если б не обстоятельства. Под осень, на шестом уже году дядиколиного семейного счастья, у рыбокомбината со стороны реки ошвартовался американский сухогруз, который велено было с походом набить икрой и отпустить по добру по здорову. Невзирая, что команде запретили отходить на берег и разрешили в полприщур поглядывать с борта на заграждения с охраной, всех корейцев подчистую согнали опять в те же бараки и держали взаперти, пока судно грузилось. В такой-то вечер лярва и прошмыгнула на корабль. Мужики дивились: черт ее душу знает, как ей это удалось, а баб интересовало другое: когда она успевала и дяде Коле передачи носить, и того-этого. Доллары у нее, понятно, изъяли в пользу мира и допросили со всей строгостью, но Клани уже хлопала себя по животу и шумела, что — нее теперь сам Эйзенхауэр в кумовья поверстан, что она алименты через НАТО стребует, если захочет, и так далее. Ей резонили, резонили, да ее разве переспоришь? С тем и выпустили.

Кстати, с этим сухогрузом крупные нелады вышли. Грузчиков подбирали по партийному признаку, но среди простонародья таких

было мало, пришлось комсомол подключить. В общем, сколотили бригаду с бору по сосенке. А чтоб не осрамиться, выдали грузчикам костюмы из шевиота через рыбокооп и штилеты на скрипячем ходу, так что попервах они выглядели дипломатами, затем бродягами и уголовниками, а когда пришел американцу час якоря вздывать, это уже была шарага оборванцев, на которых стыдно было глядеть: чужие матросы тыкали на них пальцами и подыхали со смеху. Тогда же и дядю Колю освободили, но было поздно. А стоимость костюмов и обуви у грузчиков вычли из зарплаты. Правда, не у всех; много было и таких, что отвертелись.

Не успел дядя Коля домой воротиться и не успел сухогруз из устьев к рейду выволочиться, как на буксире лопнул трос. Старший моторист Лагерев знаками попросил у американцев конец, и они кинули ему линь, на каком хозяйки белье сушить вешают. Лагерев заругался и спихнул его в воду. Американцы выбрали и кинули вторично, показав жестами: крепи, давай, без разговоров. Тот, матерясь, закрепил шпагатину и дал "вперед помалу". Шпагат выдержал. Лагерев прибавил оборотов. Шнурок звенел струной, но не рвался. Тогда на буксире придавили всю и вытянули сухогруз на рейд, словно он там и был. Капроновый линь американцы Лагереву на память подарили, и он свистнул при всех: "Вот так веревка! Крепче, чем советская власть на Камчатке!", увязав оба происшествия воедино, потому что, когда у грузчиков удерживали из полочки за костюмы, Лагерев с треском вышибли из рядов и перевели из старших мотористов в разнорабочие. Только он не дурак; через год опять вступил и в должности восстановился, зарекшись до смерти говорить вслух то, о чем думается. А у дяди Коли на ту пору выдался единственный длинный выходной, будь он неладен, с прибавкой в семье.

Стащив к морю еще трех кижучей, дядя Коля переводит дух. Оно бы, конечно, сподручней в реку бросить, но нельзя: рыба без памяти — все равно что больная; ей весь расчет в сознание приходит там, где была, а от разной перемены стихий она не проснется, а очень просто уснуть может животом вверх. Живую рыбу от мертвой он по зрачку отличает, но не так, как об этом рассусоливают штатные защитники природы: лежит, дескать, рыба и до того выразительно на тебя смотрит, до того ртом плачевно кривится, как только не скажет: "Помоги, товарищ".

Он знает, что взгляд у рыбы безликий и холодный, как рыба кровь, только и того, что есть в нем какая-то искра, пока она живая, а как умрет, искра потухает и глаз у нее делается точь-в-точь обкатанная морем склянка. И живет она, пока — у нее воздушные мешки доотказа не разопрет, как утопленнику легкие. Всю подноготную он о рыбах знает, — не зря провел с ними целый отпуск.

В отпуске он был тоже единственный раз и не милостью места, а оказией, когда сроки договора истекли и папа Ким приказал корейцам возвращаться на родину. Тогда в поселок под вечер опять пригнали кунгасы, а на них взвод солдат с пограничным нарядом. На следующий день с утра вой на берегу стоял дыбом; страшней, чем когда мужиков на войну в сорок первом забирали. Оно и понятно: там хоть какая-нито надежда была на "авось", а тут уже ничего не было, совсем ничего. Заводилой среди баб с детьми выбилась Натаха комолая, что ни есть смиренная и незлобивая в поселке. Своего корейца она отпевала чистым, тонким и таким летучим голосом, что по всему поселку было слышать.

"Ох, кормилец ты мой родненький,
Голубчик ты мой ласковый,
На кого ж ты меня покидаешь?
На кого оставляешь деточек,
Малолеточков своих птушечек,
По белусвету сиротами рость?
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!"

Бабы заходились разом без уговора: "Ах-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!!!" Дети тоже издавали до звона в ушах. Да и корейцы с кунгасов не помалкивали: кто скулил, как недобитый, кто лаялся, кто что. Одни только солдаты стояли стенкой, вроде неживые: глядят поверх, воды в рот набравши, разве что "Не положено" скажут, а от автоматов — новой мебелью. Из-за солдатской стены два офицера и уполномоченный в штатском наблюдали. Курили, водили носами. Натаху слушая, переговаривались. Незнательный, мол, у нас народ, бестолковый. С такими народом хлопот не оберешься, хоть ты их агитируй, хоть нет. Им лишь раз дай, а в другой раз сами возьмут. Ишь, стерва, выводит. Почтище чем в операх.

"Да кака вражина лютая

На мое счастье позарилась,
 Счастье бедное, незавидное,
 Кусок хлеба да покой в дому?
 И как змея подколотная
 Разорила гнездо малое,
 Разодрала душу надвое,
 Из груди сердце повынула,
 На посмешку людям кинула?
 Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!"

Но в общем, все обошлось без последствий. Собрали корейцев за минусом померших, погрузили в кунгасы и отправили на пареход, а потом на родину, как договаривались. Двое в устьях вспороли бритвой брезент и — в воду. Одного выловили, а другого отминусовали. Вода — что в реке, что в море — выше плюс четырех не бывает даже летом; в такой купели долго не поплаваешь, раз-два — и зачоченел. Конечно, кому охота к псине по карточкам заново приноравливаться? Вот они и цеплялись за баб, за детишек, за то, за се. Да и бабы не лучше. Не расписались, походились, наплодили детей незаконных, а потом кто-то им виноват. Сказано "нельзя", значит нельзя, а захотели по-своему, — пусть не обижаются.

Дядя Коля не стал ждать, пока за ним явятся. Едва пригнали порожние кунгасы и внутренние войска, он переправился ночью по реке на тот берег и дал стрекача в тундру, — без вещей, без продуктов, как был. Думали, — пропадет, а он, недели три переходя, вернулся живой, невредимый и ничуть не худой. О своем дезертирстве он поведал в обычной для него манере: "Риба есь — хоросо есь, риба нет — хоросо нет". Как раз кижуч нерестился шел сплошником, так он сидел где-то у заводи на перекате, резал беременных самок и пригоршнями жрал икру, допреж вымочив ее в проточной воде. Ему не было там холодно и он не бегал до ветру, потому что икра не просто усваивалась, а словно бы скорала внутри ровным пламенем и не давала отходов: за три недели он столько же раз, почитай, и штаны снимал. На первых порах его донимали от этого разные страхи, но вскоре он понял и успокоился. Он бы и дольше сидел, но "риба" сошла, а помимо нее в тундре ничего больше не было, и дядя Коля побрел в поселок.

Его и еще троих таких же хитроглазых вызвал к себе уполномоченный в штатском, отmaterил как следует и сказал, что все они померли согласно отчетности, а это значит, сидеть им теперь в поселке, писем на родину не писать и дальше района не рыпаться, чтоб не засекали. А дядя Коля и не думал рыпаться: взял свой "вид" и продолжал жить так же бесподданно, как до этого жил. Во время переписи его зачислили в коряки, и он не возражал. Только раз еще его побеспокоил тот же уполномоченный, — это когда с китайцами большие свары у нас были на границе.

В те дни по поселку пронесся слух, будто не сегодня — завтра китайцы отымут у нас Дальний Восток и отдадут Камчатку корейцам, а здешние, мол, поселковые все уже поделили промеж собой и будут управлять. Дяде Коле, как самому отсталому, достались острова, и он их, наверное, продаст не-за-дорого, потому что власть из него — смех один, никто подчиняться не станет. С ним после того долго еще здоровались и обязательно спрашивали: "Ну как, дядя Коля, острова еще целые? Не продал?"

По этой причине дезертиров опять позвали к уполномоченному. Тот громко сердился, заряжал-разряжал пистолет, советовал одуматься на месте и призваться по-хорошему, а затем расстелил карту и потребовал, чтобы дядя Коля показал ему свои новые владения. Дядя Коля по неразвитости не мог сообразить, в чем дело, пока ему земляки не растолковали, в чем. Тогда он сказал уполномоченному: "Турах есь — хоросо нет", а уполномоченный ему за это сперва в зубы кулаком въехал, а потом выгнал и дядю Колю и всех.

Все это не иначе как со скуки. Если должность ответственная, дела нет, надо придумывать, — вот и получается. И с уполномоченным получилось. Да и то сказать: после отъезда корейцев до того стало в поселке муторно, что если б не разгул с пьянкой, вовсе было бы невыносимо. И пошла жизнь отмечаться, как прежде, не годами, а событиями: то привезли корейцев, то увезли, то Фролин-бригадир семью топором вырубил и сам зарубился, то летом кит самоубийство совершил, на берег кинувшись, то зимой сейнер туда же вынесло и весь экипаж перемерз, больше двадцати душ, а локатор, сволочь, показывал до земли полтора километра... А то еще случай был тоже памятный: цунами шел с волной двадцать пять в высоту, а в поселке всего один дом из

бетона более-менее. Все, ясно, — к нему. Стук-постук, а там начальство спасается, вертолета ждет от вышестоящих, и милиция даже по партбилетам не каждого пропускает. Хорошо, что волна о дядиколины острова разшиблась и измельчала, да вдобавок ее отливом подсекло и в горочку распластало, так что больше получилось пользы, чем вреда: окатило поселок, точно половодьем, и всю пакость, какая за годы набралась, одним махом в реку сбросило вместе с курами и мелкой живностью. Такой вышел субботник, что хоть березки высаживай, если б они тут расти могли. А вертолет, между прочим, от вышестоящих так и не прилетел. Товарищ Геласимов, себя жалеючи, плакал в нетрезвом виде и говорил: "Этого надо было ожидать..."

Дядя Коля стоит, понурясь, и смотрит на рыбу. Эта уже — все. Никуда не поплывет и на свадьбе на рыбьей уже ей не гулять. Зрачок у нее потух, и чайки почувяли, что пора, — совсем вблизи скучились. Он их разогнал, а сам теперь скорбит и, похоже, молится рыбе, потому что — нехристь, язычник. Передать его молитву слово в слово никак нельзя, а ежели по голосу, то он, должно быть, извиняется перед рыбой, что не успел вызволить, рассказывает ей о своем житье, чтобы задобрить, благодарит за икру, которую он у нее сейчас водьем, утешает ее, мертвую, что она не напрасно век прожила, и обещает навещаться сюда, если жив будет.

Он достает складной нож, опускается на корточки, подхватывает кижуча на колено и, прободав жалом, вспарывает по брюху от головы к хвосту. Рыбье сердце уже перестало качать, поэтому кровь не брызжет росно на руки, а еле-еле пачкает острие и нехотя каплет вниз. Из прорехи в пластиковый мешок вываливается икра в родимой плеве, и он, обтерев лезвие о штанину, хоронит ее от рыбнадзора под фuffайку. Вот и все. Но прежде чем отвернуться, он произносит еще несколько языческих сакраменталий, кратких, как ругань и негромких, как заповедь.

Пройдя косу до конца, он долго стоит, печальный и задумчивый, точно перед дальней дорогой, и ноздри у него подрагивают от иодистой свежести моря, и глаза жмурятся больше обычного. Отсюда до устьев рукой подать, и ему видно, как там нерпы резвятся. Когда в устьях встанет рейсовый лайнер, нерпы вокруг него собираются музыку послушать и слушают, выста-

вив пассажирам напоказ умные свои морды. Но сейчас парохода нет, и стая нерп маячит, как поплавки, неподалеку.

На них поохотиться приходил сюда раз Димка Климов из судосборной. Опречь ружья, он взял транзисторный кассетник для приманки и мечтал наколотить штуки три-четыре под вальсок, а музыкой его снабдила врачиха Люська Шелгунова, — он с ней гулял. На одной кассете, он говорит, было написано: Калининков. Он, конечно, устроился, ружье подладил наизготовку и пустил этого Калининкова. Нерпы почему-то не подплывали, и Димка, незаметно для себя, принялся черт знает куда глядеть и черт знает о чем думать, — одну лишь эту пленку и прокручивал, а про охоту забыл. И часы у него, как назло, стали. Так что, когда он опомнился и горизонтом поинтересовался, его кучерявая прическа распрямилась и встала торчмя, а шапка наземь полетела. Он ее не стал подбирать, а тут же дал тягу, бросив магнитофон, ружье и дубленку, чтоб резвей бежать было. Прилив догнал и схватил его за пятки близ пограничного столба, но он кой-как вырвался. Люську он, чудака-человек, тоже из-за этого бросил, что-де она это нарочно ему подстроила. Но самое чудное то, что он пить перестал, пристрастившись к симфониям, — его от них теперь за уши не оттащишь.

Дядя Коля здорово рассказывает, как Димка драл отсюда во все лопатки. Вообще, он мастер рассказывать, и слушать его — развлечение, только здешний народ не очень-то удивись. Рассказывай им, не рассказывай — все одно говорят: "Бывает". Двое комбинатских дихлорэтана вместо водки хлебнули и сгорели насмерть, — бывает. Директор школы с ученицами живет с молоденькими, — бывает. Уек сутками подряд на нерест шел вдоль побережья, — бывает, и гирло так заткнул, что ни одна посудина не могла к рыбоприему пробиться, — бывает. Рыбу ловили, ловили, да потом тоннами в море же и вышвырнули дохлую, — бывает, Здесь все бывает.

Только об одном случае так не говорят, потому что случая такого никогда прежде не было и неизвестно, будет ли. Зайцы на поселок напали, — еще до цунами. Тьма тьмущая зайцев. Видимо-невидимо. Откуда их столько набралось, — наверное, со всей тундры. Среди бела дня они тучей прошли по улицам и дворам, и никто им не помешал. Собаки притаились и нишкнули. Люди, объятые жутью, позакрывались, где попало: дома, так до-

ма, на работе, так на таботе. Никакого ущерба зайцы не причинили, только землю пометом обгадили. Они вышли к лукоморью, с быстротой саранчи сожрали завалы морских водорослей и удалились во-свояси, предоставив жителям даваться диву сколько влезет. Этот случай дядя Коля отлично помнит, но не умеет его объяснить.

В поселок он возвращается так же не торопясь, как пришел. Когда он добирается до места, где оставил мертвого кижуча, там уже ничего нет, — одни кости да чешуйчатая шелуха. До ближайшего прилива.

Наши гости

Э П С И Л О Н С А Л О Н

/Москва/

"Е - салон" издается с 1985 года. Большинство авторов, группирующихся вокруг этого журнала, входит в Клуб поэзии, созданный в Москве в 1986 году. Редакторы "Е - салона" - А.Бараш и Н.Байтов. Из ленинградцев журналу близки А.Бартов и Д.Григорьев /т.293-41-36/, который является представителем этого издания в Ленинграде.

Александр БАРАШ

СТИХОТВОРЕНИЯ

. . .

А где же я? Не этот ли родитель,
со вздохом поправляющий штаны
у пухлого глазастого ребенка?

Не этот ли напыщенный учитель
над соном нерадивых школяров?

Нет, я не здесь! Но где?
Определи,
где — человек, ступивший на порог
одной ногой, чья голова еще
в движении от комнат к коридору?..

РАДОНЕЖ

I

На поле — медно-гулкий зной.
Струится холодок из лога —

и колокольчик голубой
звенит, как будто под дугой,
над белой, выбитой дорогой.

2

Кувшинки здесь, а на лугу —
стога, а выше, у дороги —
могилы, в зелени, в кругу
валов смягчившихся, пологих.
История тут протекла
бесшумно, но душистый запах
стоит поднесь, как в склянках слабых
из синеватого стекла.

. . .

Мне снились декорации: кирпич,
что нарисован на фанерной стенке,
и башни из папье-маше; под ними

поток струился разноцветный — из
пота театрального и грима. Я
не то стоял, не то ходил, но вне

привязки к полу — иногда
сквозь декорации — и все сощурился,
искал актрису с яблочным бедром,

в кордебалете давешнем так близко
висевшем у полураскрытых губ.
Потом — устал, и опустился в сквере

на мерзлую скамью, недалеко
от набережной каменной, и
заснул. То есть — проснулся.

ОСЕНЬ

Ведомый в пустыне народом чужим,
не ведая веры своей и призванья,
очнулся — и Красное море отчаянья
представилось желтою лужею жи.

Поднялся среди посиневшей травы,
на голой горе, над гниющим туманом,
и голову поднял — и мерзлую манной
наелся, — из снега и черной листвы.

ТРЕТЬЯ ЛЮБОВЬ

Как молью был трачен он болью
 изъеден утратой своей
 и третьей — покрепче — любовью
 заштопывать дыры скорей
 схватился — но нитью живую:
 из этой любви, как из той, —
 и дыр увеличилось втрое
 распушенных новой виной —

ГРОЗА

Из-за леса вышел мрак.
 Стал натачивать косу.
 На деревне ни души.
 Ставни хлопнули в домах.

Только Федя-дурачок
 Вывалился из избы,
 поглядел через плечо
 и среди дороги сел

.....

Плюнул мрак и вспять пошел.

из цикла "СТАРЫЙ ФОКУС"

ЭПИТАФИЯ И БРОДСКОМУ

Уснуло все а кое-кто сбежало
 покуда пионерский лагерь спит
 и в речке искупалось и гуляло
 и с девочкой спало забыв про стыд

Проснулось все и некое попало
 и было изгнано паршивою метлой
 но не рыдало на прощанье, а сморкалось
 и — наглое — отправилось домой.

УТРО

Когда о радости труда
 нудит по радио звезда
 краснознаменного ансамбля

заря заняв мою жилплощадь
 бюстгальтер розовый полощет
 и водяной ворчит в клозете
 глотая новости в газете

Я чувствую себя как цапля
 попавшая по плану в ощиП

. . .

В продуктовом когда ни зайдешь
 рафинад есть горчица и крупы
 и мясник в глубине точит нож
 над каким-то реликтовым крупом

Отвернусь пощажу свои нервы
 и возьму для проформы консервы

Только в винном всегда есть товар
 там всегда атмосфера премьеры
 наводнение и легкий пожар
 и какие-то красные кхмеры -
 клика хилых, но злобных людей -
 не сдаются милиционеру
 в рукопашном бою у дверей

. . .

Лежа в гриппе как в сальном салопе
 в полуАзии в четвертьЕвропе
 четвертьчертичего - в метрополии

в стальном гробе Москве ввечеру
 что я чувствую? Меланхолию
 от сознания что не умру —

буду жить и любиться в салопе
 в полуАзии четвертьЕвропе
 четвертьчертичего на юру
 наших полусуществований
 четвертьчертичего четверть знаний
 ноль эмоций как у кенгуру

. . .

Воспою школяра и прохвоста
 что явился на свет из компоста
 майский жук и навозная блошка
 нагуляли его в выходной

Без носков в бутафорских бахилах
 вороватый крикливый и хилый
 он сочится кромешной блудливой
 живодерной живою тоской

По подвалам в Хрущобах окраин
 драной кошкой он воет в трубу
 ветеранов чекистских пугая
 и с сарая плюет на судьбу
 в виде толстого самурая
 с милицейской звездой во лбу

. . .

В монастырском пруду отражаются или
 только в нем и сидят трехсотлетние ивы
 разрастаясь корнями в зеркальные дали
 там где в ряске вороны коммуны создали

А когда-то водились караси и налимы
 и под утро топились прекрасные лизы

и потом подошли социальные кризисы
замутили всю воду все съели и — мимо

И теперь сквозь пролом в монастырские башни
потянулись пьянчуги школярские шашни
коммуналки по кельям картошка в саду
и бычки завелись в монастырском пруду

• • •

Поминаю как мать твою Социум —
пуговина трещит как канат
перекрученный спившимся боцманом
четвертьвека налево назад:
из роддома — транзитом — детсад
и — в дурдом по испытанной логике

Вот и короб горючих страстей!
Пахнет хлоркой и люди в халатах
что за встреча — я обнял медбратам!
Здравствуй, тумбочка! Здравствуй постель!

Наконец-то смогу я весь день
не работать лежать у окошка
быть довольным собою как кошка
и ногою чесать меж грудей
и урчать под ногтями врачей
и кусать из за палец немножко

ЭЛЕГИЯ

Фьюить когда бы знать что там за муха пела
в малиннике глухом у южного предела
летейской области и то ли бузина
то ли калина морщилась в овраге
шокирована парой на коряге
и муравьи толкались обозлясь
Коряга уплыла и муравьи издохли!

Давно ли мы а вот теперь бы смог ли
ты так же как тогда татарским скакуном
промчатся меж трепещущих колонн
вскочить в центральный неф и пикою - вот так -
пощекотать алтарные врата?

Я смог бы! смог бы! Ну так что ж - АВАНТЕ!
Матросы старые опять ползут на ванты
и капитан белугой затрубил
Но как назло нет ни одной коряги
и потянуло хлоркою в овраге
не уходи побудь со мной всеблагий
не покидай меня козлиный пыл!

ДАЧНАЯ БЕССОНИЦА

Один белый слон два белых слона
пятнадцатый слон слюна
шестнадцатый солона
Да что я - индийский раджа
способный ночами без сна
элефантов рожать?!

Пойду-ка зевать у пруда -
вырывать из рыбьего рта -
зевнувшего - скользкий крюк -
как мысль о том, что как
ону - и теперь до утра
вырывать из рыбьего рта -
ей тоже теперь не до сна! -
семнадцатого слона

АНТИЧНЫЕ АЛЛЮЗИИ

I

Вмешательство богов в Троянскую войну
интригу опресняет на корню

Эвойэ мы удачливей! Не боги
 башки нам обжигают а коллеги
 отцы-инфанти суперстары-дети
 Вон у дверей троянский конь в вельвете

Ну что же здравствуй племя-знамя-вымя!
 устал скрывать свое я имя

темя

распахано тюремным долбежом
 Пусть будет свет! - Насилуйте при свете
 Жена и сын помиуйте-простите
 но я устал быть Сашей Барашом!

2

Вихляя чайкою за кораблем Улиса
 змеей скользя за ним в утробе леса
 струею крови со стрелы стекая
 когда он распрощался с женихами
 античной вшою я забрался в шкуры
 когда над ложем одиссеевым амуры
 от удивленья выронили стрелы:
 не зря жена героя дождалась!
 И я там был

в эпической постели

но до смерти затраханый alas!

• • •

Д... да не душа а нечто в голове
 шуршащее как еж в ночной траве
 коль под навесом свет включить и шикнуть -
 бунтующая швейная машинка!

Да, не душа - а маятный душок
 в глазу сучок а суть Бореем сдуло
 когда бревно мечтавшее стать стулом
 а воплотившееся только в стульчаке
 поддавшись на топорные посуды

на жестком размножалось чурбаке

БУДУЩЕЕ. ВАРИАЦИИ.

Ты мне представляешься как больному
одышкой чердак
безногому чехарда
Цветаевой - Пастернак

Пастернаку - автор "Тристий"
девственнице мастит
золотому зубу кастет
еще строю бог простит:
как импотенту пляж
как пионеру - гашиш
электронной системе - грабеж
и Мандельштаму - Бараш

. . .

На каламбуре не въедешь в заоблачный град
хоть перетянешь подпруги и в кровь измочалишь зад
каламбура и пенупустишь по удилам
и напрочь собьет копыта серый в яблоках кадилак

Стгнили въездные ворота и балок висят оглобли
если рванешься вперед - сразу заедут в лоб и
если хилешься назад - дадут такого пинка,
что дорога обратно будет как в сказке легка

Труси-ка в родное стадо заезженный каламбур!
А я обломлю чь как памятник над непроезжим рвом
Вот старый оптический фокус:

чем на бадье верхом
глубже в колодец въедешь
тем пуше манит лазурь

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из 3 книги Ездры

- Пойдем, - сказал друг другу лес, -
Войну объявим морю
И много необжитых мест
Возьмем у моря с бою,
На тучных илистых полях
Мы вдаль себя засеем,
Полками доблестных вояк
Подлунную населим.

- Вставайте! - дерзкая волна
Взывает к сонным сестрам, -
Сегодня быстрая война
Добычу принесет нам;
На лес обрушимся врасплох
Одной громадой бурной,
Возьмем на запад и восток
Простор для силы буйной...

Они столкнулись - тяжело
И долго: ни сажени
Не уступают... И возшло
уж солнце над сраженьем, -

Стоит и смотрит, жар и блеск
В его безумном взоре...
Стоит, стоит... Вдруг вспыхнул лес,
И зашипело море,

И в прах рассыпались века
Любви, трудов и брани,
Лишь вихри мертвого песка
Над ними - и над нами.

Ж Ж Ж

Блуждающих икон таинственный огонь
Струился по лесам безмолвною рекой,
Кружился и плясал, — и светлыми столбами
Вздвигался над пустынными холмами.

В те дни была земля едва населена,
Она задумчиво влеклась чрез времена
Войны и мора. — Вымершие села
Смотрели молча в белые озера.

Свободой действенной мощно обуян,
Лес девство возвращал заброшенным полям,
Покинутые, разрушались храмы,
А иноки шли в северные страны.

Их богородица и в тонких снах звала,
И наяву вела — в пустыню, прочь от зла,
Для подвигов места сама им назначала
И воду в родниках им освящала.

Там Дух Святой дышал и, где хотел, блуждал.
В просторах нежилых копясь, он сроков ждал,
Когда из тишины монашеских колодцев
На жаждущий народ, шумя, прольется.

1979

Ж Ж Ж

Выходит лунатик, облитый луной
На крышу
и бродит над спящей страной —

И слышит работу печатных станков
В высоких сугробах газетных листов...

А утром он встанет и кофе нальет
И свежую в руки газету возьмет —

ж ж ж

Ничего не узнать, ничего не создать,
 Не распутать узла, чтобы вновь все связать,
 И не вырваться, чтоб не убить, -
 Только длинно и верно любить.

Ты, прозревший к бездеятельной простоте,
 Видишь: около изгороди на кусте
 Муравьиная трефа созрела. -
 Это шаг непрерывного дела.

Скромно время прошло тут сторонкой - и вот
 На великих претензий обидчивый плод,
 Не юродства изломанный крик,
 А счастливый бубенчик возник.

1981

ж ж ж

Зачем ты, полковник, читаешь полит-дребедень,
 Мозгами по тексту газуя, как танк по болоту? -
 Читал бы Вергилия четвертую, скажем, эклогу...
 А если нужны непременно конспекты к уроку -
 Хоть Фолкнера, что ли, со **Стэком**, читал бы, ей-богу,
 Иль Джойса - в вагоне, в мгновенье, продленном в эпоху, -
 Где шелест последних газет - как полет лебедей.

И мне отвечает полковник, раскрыв портсигар:
 - Красивое чтение - лукавство ленивого духа.
 И эта эклога Вергилия - холуйская штука.
 Не там обитает суровая наша наука,
 Не в выпревших сих пустяках ее Брут постигал.

Как злак, настоящее дело невзрачно цветет,
 В крикливом торгу выставляться ему не полезно, -
 Но не из тюльпанов, ты знаешь, мешается тесто, -
 Как не из "Цыган", если помнишь, месил его Пестель. -
 Так мне элегантен твой Джойс или там... Элиот...

1985

ж ж ж

Открыт опять веселый путь слезам мгновенным, -
Шалит приветливо неверная фортуна. -
Опять звонят, опять зовут Сезанн с Гогеном, -
Ворчит, завариваясь, новая "халтура".

Опять высокая трава звучит и пахнет.
В саду на ниточках теней повисли осы.
В оцепененьи - не вздохнет, во сне - не ахнет, -
Лишь еле-еле по углам летают грозы.

Меня подхватит на углу Сезанн с портфелем,
Гоген с проектом еле внятного контракта, -
В саду, в приветливой тени стакаң с портвейном
Блеснет, на ниточках лучей качнувшись кратко.

Опять стоверстная Москва - курятник царский -
открыта вдоль и поперек беспечным рейдам, -
Опять тревожный и протяжный запах краски
Ползет в просторной толчее за нами следом.

Прохладный вечер далеко, - день обширный,
как с колокольни обозрим, лежит пред нами.
А там за меркнущую грань летят машины,
Толкаясь, звякая летучими гудками.

1983

ж ж ж

В темной даче темны зеркала декабря,
в поле снежная пыль шелестит, теребя
полумертвые стебли полыни, - с них семена
улетают за край забытья.

Для тебя,
как озера, белы у меня времена,
в неменяемом свете заката блеснит полынья.

В темной даче туман, и до дна зеркала

вымерзли. Веранда твоя заперта.
Завела незаметно в сугроб и пропала тропа
у почтового ящика месяц назад,
и с тех пор умирающий пар изо рта
оберегла, на сосновые иглы кругом нанизав.

В темной даче вплотную, спиной к зеркалам,
ты стоишь, вино осветило стакан,
но не видно... - дальше вплотную стоишь за окном,
где лиловые тени оставил закат,
но не вечно - и тянешься дальше за шкаф,
с редким стуком роняя поленья, оплывшие льдом

В мерзлой даче, где даже чердачная пыль,
словно иней, гладкие стебли перил
облегла... - не ты или я, - но темна поленья...
За опушкой над озером вьется метель - -

1985

Григорьев Дмитрий
/В.О./

ГОЛОЕ ПОЛЕ

посв. одиноким путникам

мне некуда спрятаться голому
свежие мысли не входят в голову
им неоткуда взяться в этом поле
замерзал когда-то ямщик
мне незачем прятаться голому
в голом поле все голое
и людей нет на сотню верст окрест
а волков и подавно нет
небо здесь лысое гладкое
солнце круглое как колобок
ни тумана нет ни бурьяна
и ворон не кружит
про ворона в песне поется
но песня еще не жизнь

•

во сне приходит она
бесформенная под пышной порослью белья
всю ночь я раздеваю ее
всю ночь я выдергиваю белье - белье
а она смеется:
- Потную травку суши,
сухую - складывай в стог

... и колобок выкатывает на восток.

•

по утрам я рисую следы
и вспоминаю ямщика:
широка страна а он один
в поле не воин
если его найти
нас будет двое
мы раздуем пламя общения
и ямщик не замерзнет в степи
он станет моим сотоварищем
мгновений жизни хранителем
голового поля воителем

•

но жизнь говорит:
- Пока я в твоих руках
глупо искать ямщика,
лучше давай ковырять землю
добывать червяка!
и я слышу как в сердцевине
судят: виновный - невинный
там глубинные черви сомнения
строят подземный аэроплан
там страсти обуревают
и люди отдаются делам

•

- Нет мне дела! -
я устремляю взор в небо

предполагая бога
и величие его власти
но катится по небу колобок
выдавливает слезы из глаз:

- куда хочу - туда иду,
захочу помру, захочу - жить буду, -
сам себе вышний всевышний!

был день...

был день, когда я нашел раковину
вместо червяка
и подумал: здесь было море
или река

•

был день, когда я нашел
осколки посуды
и высохший кал
и подумал: здесь жили люди
их сжигала любовь и тоска

•

был день, когда по небу летала птица
она взмахивая крыльями жужжала
как машина на молнии
небо расстегивалось расползалось
обнажая небесные тела: звезды, планеты
и млечный путь -
я долго не мог заснуть

а ночью не видел снов

•

был день появления ящиков
с надписью "яд"
с клеймом "череп и кости"
когда я открыл первый ящик -
- увидел корягу и камень
во втором оказались тряпки
топор лопата и ржавые гвозди
третий открыл - механизмы
меня встретили масляным блеском
ящики шевелились
разбегались по голому полю
зарывались кротоми в землю
- Последний, вернись, последний! -
- окликнул
смотрю:
вернулся
я крышку сорвал и нашел
себя...
ночью исчезли ящики

•

был день сухих золотистых волос
ночь я лепил тебя из воска
оставляя жирные отпечатки на небе
и вдруг почувствовал вращение мысли
вокруг яростно пульсирующего куска плоти
земной оси

а ты смеялась:

- Возьми, возьми, возьми свой груз
и сам неси.

был день тоски по городу
был день тоски по деревьям
это все мои праздники - дни тоски
и каждый день я отмечал
морщиной на собственном теле

был день, когда я перестал
чувствовать время

песня разъясняющая:

дело не в заунывной песне ямщика
и не в страшной обнаженности человека
и даже не в боге, разном с разных сторон,
дело в том, что нет ветра

я перемешиваю ногами пенопластовую крошку
и прожектор обозначает солнечный свет
- Включите насосы! Скорее включите насосы!
- Им покажется, что нет ветра!
ямщик рукавицей стирает слезы и пот
затем беззвучно падает в якобы снег,
скоро придет горизонт и обрежет ему век,
но по-прежнему нет ветра

Фантазия I:

звонарь поднимается на элеватор
ветер свистит огибая пейзаж
солдат всегда на своем посту
он мир охраняет он мир бережет
он - мир
звонарь ударяет в облако
и облако глухо звенит
звонарь включает луну
стоит солдат на своем посту
он мир охраняет, а счастье бежит
звонарь испытывает звезды
проверяет насосы
и ветер свистит
ветер приносит благие вести:
по окончании прокачки
одорация сиренью
сегодня солдат вырезал звезду из жести
выдумал слово звонарь
слово сирень
выдумал то что он солдат
выдумал элеватор
и правила подъема наверх
итога:
вычитая случайную фигуру счастья
имеем:
невыдуманное голое поле
где некому нечего незачем охранять

Фантазия 2: /монолог звонаря/

- я выбросил протезы
и видел, как они падали,
серебристые в лунном свете,
Тогда я понял,
что нет пути вниз
этот элеватор - моя лестница в небо.

Однажды я выпадду снегом
на твои плечи,
и тебе станет легче
под тяжестью снега.

был день...

был день, когда я нашел
полупустую консервную банку
с надписью НОМО **SUPER**
я рассматривал высохшие трупики:
вопросительные крючки пророков
восклицательные знаки диктаторов
я перебирал их перекладывал из руки в руку
и ржавчина наций будущего
покрывала мои пальцы
я вспомнил как спрашивали
одного мудреца китайца:
- Что ζ тебя в мешке?
а он отвечал:
- Весь мир.

был день размышления о границах
и черных точках на горизонте
может быть это — замерзшие ямщики?
или их жены?
или люди высохшего русла реки?
/тогда я подумал: во сне
твоя рука — река
несущая в облака
тех, кто лучшей доли искал,
а в голом поле тоска
донага раздевает человека,
таскает по земле, размазывает
как масло на хлеб
только вот хлеб есть некому/

был день определения границ мира
от видимых линий горизонта
до бездонного потолка
я понял тогда,
что жизнь — это сон
возле пустого мешка
древнего мудреца.

мне незачем прятаться голому
от душевного голода — холода
от мыслей, покинувших голову

и гуляющих в чистом поле
ведь широка страна моя
и много разных мыслей в ней
они бурлят внутри и вне
все протекает, исчезая в глубине,

ямщик поет
и падает ему на плечи
снег.

- 1986 год -

Г.К - а

КОЛПАКОВ

Нежаркое утреннее солнце ткнулось в жестяной карниз, оконную раму с облупившейся местами краской, пыльное изнутри стекло, когда-то расколотое пополам и теперь составленное из двух половинок; в щель между ними набились копоть: козматая, она не давала им дребезжать, когда дул ветер, а ветер дул часто, сильный, яростный, — так дуют на ожог, так бросаются обниматься в слезах, как он разбивался о глухие стекла.

Дом был старинный, и рама своей толщиной и добротностью даже в запустении напоминала об особой прочности старинных вещей с угрюмой неухоженностью древесины и редкими трещинами.

Между окон, как весенний снег, все еще лежала вата, осевшая, длинная, превратившаяся в брусок, казалось, она покачивается, как описанный адмиральский катер.

Ветра не было. Поднявшись выше, солнце осветило форточный проем. Желтая дуга, натертая форточкой, вспыхнула как отдельная деталь и, словно опомнившись, потускнела; две серые, влажные дощечки походили на пустые утренние перроны, а за ними, как наваждение, — темное ситцевое полотно занавесок; они чуть колыхались, вязкие, не пропускали солнце и висели, оставив только сверху узкий треугольник, куски материи сонно покачивались, узор на них давно стерся, лишь кое-где можно было различить два-три красных волоска, конус; занавесь дремала, как глухой сторожевой пес, уже не отличающий хозяев от воров, казалось, она чуть подергивалась во сне, и в то же время за ней, как за загаженной пленкой пожарного водоема, пряталась холодная, темная глубина.

Солнечные лучи не смогли проникнуть за эту завесу и высветили на краях треугольника пылинки; неясные испарения шевелили почти невидимые ворсинки и точки, золотистые края треугольника еще подрагивали, а где-то там, в комнате, тысячи пылинки устроили домашний космос с рождением и смертью, как маленькие метеориты заплывали они в яркий луч, вспыхивали, а потом не исчезали, но уходили в тень, тихо оседали на пол, на письменный стол, стены, а некоторые после этого еще кружили, повинувшись течению воздуха. Одно из них, холодное, струилось вниз по стеклу, обогнув подоконник и отогнув пластину полотна, опускалось на паркет холодным потоком.

Застойный воздух держался чуть выше и отпихивался от све-

жего вялыми мутными струями. Стремительно катился по полу бледный сырой воздух и уходил в щель между дверью и полом.

Теплый слой отсиживался на потолке вместе с мухами, но и его заставлял шевелиться хищный полет внизу. Прелый застойный дух, как из старой хозяйственной сумки, он вобрал в себя старческое дыхание, туман усталой, но крепкой мебели, табачную отрыжку, он высовывался наружу вяло и выскользнул из комнаты, как размокшая стелька из ботинка.

Свет становился ярче, и луч покотился по комнате, как катится золотая монета перед тем как провалиться в глубокую шаль — медленно-медленно и слегка вздрагивая. Желтые обои с цветами, похожими на малярийных комаров, в некоторых местах коробились, словно у них что-то чесалось, они не были грязными, но кое-где, из-за перестановки мебели, ободрались, и казалось, что они тщетно стараются залить эти раны тягучей смолой, вспоминая прежние привычки и забывая о собственной сухости, а луч тем временем скатился на красный до черноты шкаф, преломился в его наборных окошках, скользнул по его плоскому, вогнутому от времени животу, попал на пол и разбился, двоясь и троясь.

Дверь посветлела, и мебель, вещи выставили миру свои углы и изгибы, очертания и формы, свой материал. Краски вещей выступили гуще, на полке оскалились шляпки гвоздей, большая железная кровать с голыми трубами ножек, с колесиками на их концах, стояла в углу. На зеленом сукне стола старинные швейцарские часы со вкусом жевали свое ноздреватое утреннее время.

Но другое, соленое, время разъедало частички вещей в этой небольшой комнате.

Фотографий на обоях не было. Шкаф, стол, три стула, железная кровать, на которой дремал, накрывшись одеялом с головой, маленький старичок — вот и вся обстановка; еще прижимал к стене желтый абажур торшер, несколько книг на полке, папиросы на столе, тощие рваные тапки. Стакан воды на стуле да силуэты пузырьков на подоконнике — вот и все.

Солнечный луч пропал — это солнце зашло за крышу. Наступил тот момент в комнате со стариком, когда все вещи словно напряглись и слушали невидимый спор, решающий участь хозяина, только пыль все так же кружила, да занавески-янычары были равнодушны к исходу.

И старик проснулся. Сначала чуть дрогнуло одеяло, потом показалась голова, а за ней, как из футляра, высунулись руки с остатками мышц.

То, что он проснулся, Колпаков понял не сразу; послушал, как ровно идут часы, поморгал, пощупал пальцами одеяло, пошевелил ногами, а потом вытянулся и вобрал воздух ноздрями с такой силой, словно издалека возвратился домой.

Воздух был несвеж. Колпаков отвернул одеяло и устало сел, почесывая грудь и зябко поводя плечами. Посмотрел на часы. Все-таки он был рад. Колпаков засунул ступни в тапочки, ступни вошли в них сухо, словно две расчески, кряхтя встал и, покачнувшись, довольно твердо подошел к окну, с бинтовым треском раздернул шторы.

Если бы вы увидели его, стоящего у окна в майке и с раскинутыми руками, то отвернулись бы.

Колпаков был не из тех стариков, которые вызывают умиление и жалость, он принял старость как должность и даже болел ровно столько, сколько нужно, чтобы не опуститься.

Одиночество вместо зарядки разминало ему душу, ее не размягчали нежность и заботы родных, каждый день Колпаков знал, что ему неоткуда ждать помощи, но ни о чем таком не думал, в его время жизни обрывались резко, почти беззвучно. Разались струны, нужна была медь.

Когда-то, давным-давно, у Колпакова была семья, потом еще одна. Словно плотный холщовый футляр, осевший на пол, он хранил еще очертания тех жизней, их объем и покатую теплоту, но не очень жалел о них; его стойкость и крепость — как стойкость и крепость его поколения, словно пустой футляр, держала еще форму прошедших событий. Года, десятилетия дубили уже другие характеры, и прежние панцири хрустели на берегу.

Колпаков отошел от окна и начал медленно одеваться, он никогда не появлялся в квартире неприбранным, даже когда оставался один.

Почти не помятая простыня уже остыла. Колпаков заправил кровать, взял бритвенный станок, холодный и тяжелый, старый рыжий помазок, мыльницу с обмылком, открыл дверь в коридор и пошел бриться.

Он уже чувствовал необязательность своего существования, и его характер, если не смягчился, то перестал на него

давить, но и защищать стал слабее.

Колпаков посмотрел в зеркало, хмыкнул, включил воду и стал намыливать щеки, подбородок, сморщенную, как слоновая нога, шею, потом сунул в воду станок, вынул его и твердо провел по щеке от серых волос до челюстей — сверху вниз...

Побриться он не успел, так как в дверь позвонили, и Колпаков, не вытирая мыла, заспешил по крашеному коридорному полу к двери.

— Кто там? — спросил он, переминаясь с ноги на ногу.

— Открывай, Карпыч, свои, — ответил голос за дверью.

Колпаков голос узнал и загремел задвижками. С лестничной площадки потянуло холодом.

— Здорово, сосед, — сказал невысокий парень, перешагнув порог, — узнаешь?

"А, Юра — то обнаглел, — подумал Колпаков, — поганец этакий".

— Проходи, чего стоишь, — он потянулся к двери, — холодно.

Этот Юра вырос у Колпакова на глазах, как вырастает щенок или котенок, он помнил еще, как праздновали рождение нового питерского пацана, и он гулял вместе с гостями и вместе с ними радовался чему-то своему, как и всякий случайный гость на празднике.

Юрий отец ему понравился сразу, как только появился у них в квартире. Простой. без затей, парень был молчалив, курить выходил на лестницу. Дочь соседки Люба работала с ним на одном заводе.

Как-то раз Колпаков шел в гости к одной хорошей знакомой. Был теплый летний вечер, машины по Кировскому проспекту проезжали будто быстрее, чем по другим улицам: эlegantные "Победы", черные важные "ЗИМ'мы и ЗИС'ы", бокастые "Волги", проезжали и ревели дизельные "МАЗы" с быками на радиаторах.

Колпаков уже проходил мимо Кинотеатра "Арс", когда увидел впереди себя девушку и парня. Они шли очень прямо, на большом расстоянии друг от друга, молча.

Колпаков поравнялся с ними и узнал в девушке Любу, да и парень был знаком. Те сразу же покраснели. "Что, гуляете?" — весело спросил Колпаков, засунул руки в карманы. Ему нрави-

лось смущать и чувствовать свою доброту и незлобливость. "Гуляем, - ответила Люба звенящим голосом, - а что?" - А! - Колпаков подмигнул парню и легонько толкнул его локтем в бок, словно подзуживая, - сестра?!". Но настроение было почему-то испорчено, он захотел вдруг наорать на них обоих и вытянуть по спинам ремнем. Раздражение, как морская вода, разъедало сердце, "Со мной, с фронтовиком..." - закипало внутри совершенно не к месту.

Парень согласно хмыкнул и еще больше выпрямился, словно принимая сторону Колпакова и заранее во всем с ним соглашаясь, а Люба демонстративно отвернулась.

"Ладно, не буду вам мешать, - бодро произнес Колпаков, - не буду мешать". И опять подмигнул, толкнул в бок парня, тот сплюнул и тоже отвернулся. Колпаков быстро пошел прочь, не понимая, зачем вообще заговорил с соседской дочкой и с ее хахалем. А когда подружка, пользуясь моментом, легла на бок и, водя ладонью по его груди, попросила денег, то он резко скинул ее руку с себя, прошелся, задев стаканы, наглой походкой голого пятидесятилетнего мужчины и, вынув из пиджака деньги, положил их на подоконник, а потом молча лег обратно. Ночь была тогда светлая, но уже не белая, кружевные занавески раскидали по комнате рыбные тени. Колпаков не любил деньги, не очень любил он и женщин. Не смерть, а старость подходила с косою, Колпаков жертвовал на себя.

После встречи на улице Любка ненадолго надулась, но Колпакову было на нее наплевать, а с парнем он познакомился поближе, узнал, что его зовут Анатолием, что он работает на заводе вместе с Любкой, Любка хочет поступать в институт, что токарь, что служил на Дальнем Востоке и что однажды...

Когда Колпаков вернулся из командировки, Толька с Любкой поженились и Любка уже ходила по квартире валко, словно буксир на волнах. Толя стал часто заходить к Колпакову в комнату, они курили, играли в шахматы. Толя уже не выходил курить на лестницу, он осунулся, стал прижимист, в коридоре на шкафу пылилась стопка учебников, перевязанная крест-накрест бечевкой. Иногда выпивали.

Соседка - в прошлом жена имевшего неплохую должность и зарплату человека, который пропал, но реабилитирован не был.

Колпаков узнал об этом от приятелей, с которыми пил пиво, но никогда не задавал этим соседку, а та, к работе непривычная, очень быстро огрубела, одна воспитывая Любку после эвакуации. И теперь, когда Петровна без стука открывала дверь и, уперев руки в бока, видно вспоминая богатую жизнь, произносила:

"Анатолий, что такое? Я за вас буду мясорубку крутить?!", Колпаков понимал, что она напрашивается на скандал, Он, ухмыляясь, выталкивал Тольку в коридор и специально пьяно выговаривал, "Толенька, зять, помоги теще... Ну!" Глаза у Толи наливались кровью. "Что кричите, мамаша, " - цедил он сквозь зубы, но послушно шел на кухню.

Колпаков сел на стул и медленно на нем раскачивался; ему положительно нравились и Толя, и Люба, и Петровна. "Домработницу держали, - вяло думал он, - ну и что?" После кухни Колпаков открывал нижний ящик шкафа и смотрел на медали, не трогая их. Медалей было много, о войне он рассказывать не любил.

С рождением ребенка Петровна сильно изменилась, стала меньше дергать Тольку, но смотрела на него уже будто на мертвое вцепившись. Колпаков по воскресеньям замечал, сидя на кухне, такой взгляд, поднятый от кастрюли.

После получения свидетельства о рождении Толя, Люба с ребенком, гости ввалились в коридор. Собственно, ввалились только гости. Люба, сияющая, в синем платье, вошла медленно, осторожно держа в руках белый сверток. Толя с растерянным лицом вился у нее за спиной. Да и гости ввалились как-то тихо и вроде бы с почтением. Колпаков стоял в кухонных дверях с папирсой в зубах, в брюках с подтяжками и беседовал с Петровной, вдыхая вкусные запахи и отчего-то злясь на себя, а когда он зашел к себе в комнату и нерешительно опустил подтяжки, чтобы переодеться, в дверь постучали, молодой отец просунул в щель стриженную под полубоке голову и пригласил Колпакова к столу. Колпаков немного помедлил, но затем быстро надел новую рубашку, накинул подтяжки, пригладил волосы и даже попытался заострить пальцами стрелки на брюках, после чего вышел из комнаты.

От множества запахов у Колпакова потекла слюна, он сглотнул, поздоровался и принялся искать глазами, куда бы сесть, суетливо и настороженно. Стол был богатый, Колпаков быстро опья-

нел. Толька же надрызгался совершенно и изредка кричал с другого конца стола: "Сосед!", пытаюсь свистнуть в два пальца.

О ребенке забыли все, кроме Любы, которая временами выскочивала из соседней комнаты и шипела на гостей: "Да тише вы, тише!"

Колпаков познакомился только с соседом по столу. Соседа звали Васей. Он был торговым моряком, плешивым не по возрасту. Напротив сидела его жена с огромным шиньоном на голове, довольно плотненькая, как отметил про себя Колпаков. Васина жена что-то громко рассказывала про Европу, но сам Вася больше молчал и ел вареную картошку с укропом, запивая ее водой.

Потом Колпаков захмелел еще сильнее и видел только, как почернело небо, некоторые гости стояли у окна и курили. Дым поднимался вверх и выскальзывал на улицу, в душистый ночной воздух. "Возьмите буше, вы буше, возьмите! - услышал Колпаков голос моряцкой жены - На Невский за ними перлись". Ее кто-то благодарил. Колпаков встал и, перебирая руками стулья, пошел к двери в комнату, где лежал чужой ребенок, открыл ее толчком руки и вошел туда, чувствуя, как надувается на шее жила.

Любка сидела в углу и плакала. "Что-то я не углядел за столом", - подумал Колпаков. "Эй, мама молодая, - окликнул он ее, - как назвали-то?" И, услышав ответ, повернул голову к высокой деревянной кровати, где завернутый в одеяло лежал человеческий детеныш Юра, морща маленькое личико в белом чепчике.

На улице совсем стемнело, и сквозь тяжелые шторы в комнату едва проникали пятна фонарей. Тени расчертили потолок, как стрижи. Ребенок спал, отблеск от лежащей на полу тарелки освещал на стене портрет Первого Космонавта, тяжелые бордовые шторы висели неподвижно и немного мрачноват был их почти черный в темноте цвет, бархатистый мерцающий сливовый цвет перезревшего плода. Казалось, еще немного и шторы оборвут крючки и зацепки и свалятся на пол, сложившись и вздувшись плотным своим материалом, как пена, а в них, в их черной лишковатой мякоти, останется ждать своего часа твердое влажное ядро.

Гости почти все разошлись, некоторые еще обвисали на стульях, кто-то курил у окна. Анатолий дремал в углу. Гости провозжала до дверей Петровна. Колпаков не захотел принимать сиротский вид засидевшего гостя и пошел курить на кухню. Свет там

был выключен, и, услышав в темноте чьи-то шаги, пара на стуле почти не пошевелилась, рука на бедре женщины была осторожно и жадно напряжена. Они мычали в поцелуе, и Колпаков узнал моряка Ваську. Дикое веселье охватило Колпакова, он кашлянул, а потом звякнул тарелками. Те не обратили на него никакого внимания, и Колпаков неожиданно смутился, резко повернулся и, пошатываясь, побрел курить на лестницу.

Пеленки, сохнувшие целыми днями на кухне, ставшая молчаливой Люба, Петровна, с головой окунувшаяся в угар выращивания ребенка, как матерый садовод день и ночь трудится на своем участке, устраивая парники со светом и поливом... Они почти не машали ему...

Анатолий работал как вол, приходил на кухню усталый и злой, Колпаков даже иногда осаживал его, когда тот принимался в отсутствие Петровны рычать на Любу. Толька матерел на глазах, и Колпакова начинали раздражать эта суета, и хотелось куда-нибудь уехать, уйти. Он уходил пить пиво, стоял на осеннем ветру, пена прыгала из кружки пористой содовой каплей, летела вниз и с мокрым чмоканьем прилипала к асфальту, в ней быстро лопались маленькие пузырьки газа, и на сыром асфальте оставались только очертания, обметанные белым.

Колпаков щурился, вытягивал губы, холодное толстое стекло кружки касалось нижних зубов. Он всегда так пил пиво, как бы придерживая зубами приятную тяжесть. Пиво горчило, соломенного цвета напиток неуклюже ворочался в широком цилиндре, ветер дергал Колпакова за плащ.

Шли годы, как прохожие по осенней улице, не делая зла и не зажимаясь. Перед дождем болели суставы и колело в боку, Приближалась пенсия. Подруги его становились терпеливыми и крикливыми, все чаще он заходил к ним просто так, посидеть на кухне, послушать вздор. Узнал тайком про сыновей, у них было все в порядке. Каждый уже вытащил свой билет и не мучился тоской по отцу, было еще рано или уже поздно, а сам Колпаков не хотел появляться и что-то объяснять. Он понимал, что сыновья взрослые и обязательно, словно дорогого подарка, будут ждать объяснений, или оправданий, или обвинений — какая разница... А это Колпакова не устраивало, да и не мог он войти в чужую жизнь ни родным, ни чужим человеком, он не был брошенным стариком, но и сам никого не бросал.

Первая семья развалилась еще до войны, когда он в выбеленных зубным порошком парусиновых туфлях зашел в комнату и от светлой тишины, от настоящей на солнце пыльной дремы ему вдруг захотелось не поверить и оказаться правым, ему вдруг захотелось стать честным, чистым, блестящим, как поручень в ветреный и солнечный день. Он думал тогда, что все обойдется, она ушла к матери, прихватив с собой ребенка, ненадолго, почти с радостью, предвкушая возвращение, да и он так думал; так иногда дети с буйным весельем начинают крушить свои постройки из песка, детей пугает завершенность и кажущаяся неподвижность, разрушив же, начинают строить заново, либо их зовут обедать и они убегают, стряхивая темные от сырого песка ладошки и оставив за собой руины. Началась война, а он и не знал, есть у него семья или нет. Писем Колпаков не получал.

Иногда Колпаков встречал в городе Анатолия. Тот бросил семью и занимался неизвестно чем, но явно где-то работал или у кого-то жил, как догадался Колпаков, видя его незапущенный вид. У Анатолия с Любкой ничего не назревало, хотя они, когда расставались, снабдили разрыв длинными монологами, подслушанными у телевизора. Колпаков сидел у себя в комнате и курил, наблюдая как в противоположном окне женщина поливает цветы. За стеной в коридоре слышались голоса Толи и Любы. Колпакову было все равно, но все чаще он по самым ничтожным поводам казнился, устраивал себе душевный трибунал и сухо, желчно судил начальство, товарищей по работе, случайных прохожих, которые ему чем-то нравились, в этом разводе он оправдывал Любку, оправдывал почти бессознательно, рассуждая междометиями: "Э-эх... даа... Любка, Любка", - и качал головой, а потом, неожиданно для себя, приговаривал их обоих и чувствовал собственное бессилие и ненужность.

Маленький Юрка, бледный худенький детсадовец, похожий на выросшую в полутьме фасоль, когда мать выходила на работу, оставался с бабушкой. Он часто болел. Колпаков тоже стал часто болеть, пил лекарство, подолгу курил; выздоравливающий Юрка слонялся по квартире в клетчатой буденовке из "Детского мира", с перевязанным ухом и с игрушечным автоматом в руках.

Петровна жарила Юрке оладьи на подсолнечном масле. Терпкий дымный запах шипящего жирного теста тянулся по коридору и заползал в комнату Колпакова, Колпаков выбирался наружу и тоже

шел себе что-нибудь готовить.

Одно время он вдруг привязался к Юрке, стал покупать леденцы в фиолетовых фантиках и выдавал их Юрке вечерами, когда приходил с работы, по одной штуке. Тот тихо благодарил и совал конфету в карман штанишек, но, однажды, Колпаков, стоя у сковородки, заметил в помойном ведре фиолетовую бумажку. Он мог и не обращать на это внимания, что тут такого, не с фантиками же есть леденцы, но подошел к ведру, зачем-то вытер руки и стал вылавливать среди ошметков чужого мусора, картофельных очисток и прочей дряни покрытую слизью фиолетовую бумажку. И когда почувствовал в пальцах твердое тельце конфеты, вытащил ее из помойного ведра и некоторое время на нее смотрел, поджимая губы, а швырнув обратно, принялся мыть руки хозяйственным мылом.

Это маленькое открытие его больше обрадовало, чем огорчило. Он подумал, что, наверное, не зря решил тем довоенным днем первый раз после свадьбы зацепить полную молодую женщину с русой косой и голубыми глазами, называющуюся его женой; его жизнь, все ее перегибы и изломы, приобретали несколько иной смысл, чем раньше, и Колпакова это очень радовало. Сейчас, в старости, когда он вдруг понял, что все, случившееся с ним в жизни, было чередой бед, Колпаков, моя руки под струей горячей воды из кухонного крана, решил немного разориться и купить на зиму баночку дорогого рыночного меда! Чве баночки! Три!

Он был еще полон если не сил, то энергии, но все чаще и чаще по ночам болело сердце и он, нащупывая в темноте цилиндр с валидолом, просыпал половину таблеток на пол и, замерев, слушал, как некоторые из них катятся, часто постукивая по половицам, а потом на что-нибудь натыкаются и валятся на бок с еще слышным шлепком.

По утрам Колпаков просыпался быстро, долго лежал в кровати, слушая, как тикают часы, и ни о чем не думал. Обстановка в комнате не менялась много лет, и Колпакову временами казалось, что он сам стал частью этой обстановки, замер, засох, как жук, попавший между рам, оставил на свету плотный хитиновый панцирь.

Когда Юрка пришел из школы с разбитыми губами и носом, с красными от слез глазами, мокрым галстуком в руке и в белой рубашке в кровавых пятнах, Колпаков вдруг заволновался. Юрка, всхлипывая, прошел мимо него на кухню, а Колпаков стоял в ко-

ридоре, почесывая грудь, и смотрел ему вслед из-под мохнатых бровей, пряча в морщины улыбку. Сердце забилось радостно, словно чужая кровь возродила в нем былые силы, он даже приосанился чуть-чуть. За дверью начала кричать Петровна, и Колпаков пошел на кухню, где закурил, стоя в дверях и чему-то уже открыто улыбаясь.

Как можно было понять из криков, Петровна хотела тащить Юрку в школу, Крики перемещались за стеной, и, наконец, Юрка выскочил из комнаты, зацепился за ряд трехлитровых пустых банок и упал во весь рост, как нырнул.

Он как-то странно засипел и, моментально вскочив на ноги, со всего маху ухнул ближайшей банкой об стену, крупные зеленые осколки со стуком попадали на пол, словно яблоки.

Юрка вытаращил глаза, а потом кинулся на кухню, проскочив мимо Колпакова и сбив пепел с его папиросы. Услыхав звук разбитого стекла, отворила дверь Петровна, Колпаков увидел ее щеку и прядь седых волос, Петровна вздохнула и резво выскочила уже с ремнем в руках, сверкнула раздутым чешуйчатым фартуком, топая на всю квартиру. Когда она пробежала мимо Колпакова, тот заметил ее мокрые от слез щеки. Он с любопытством наблюдал, чем все это кончится.

Петровна, выскочив на кухню, издала дикий крик, и ремень, просвистев в воздухе, грохнул пряжкой по столу. Звякнули тарелки.

Юрка уже испугался и зажался в угол в своей синей школьной форме и с опухшими разбитыми губами.

Колпаков думал, что если пацаненок саданет чем-то бабушку, то он ему покажет, думал Колпаков заботливо, как думают, ища предлог для действия, но Юрка ничем швыряться не стал, а Петровна, сама испугавшись своего поступка, села на стул и беззвучно заплакала. Юрка выбрался из своего угла.

- Э-э-э, Петровна, что за коррида, - молодым голосом произнес Колпаков. Та не отвечала.

- Я, конечно, не знаю, что тут и отчего, - как бы задумчиво произнес Колпаков, подчеркнуто пуская дым отвесно к полу и приподнимая брови, - но, думаю, что парня надо записать в бокс.

Петровна подняла голову и вдруг стала зачем-то оправдываться, она говорила, что не хотела, чтобы Любка разошлась с Толей, что ребенок растет без отца и что она делает все, что

может, а Юрка стоял посреди кухни и задумчиво трогал распухшие губы пальцами.

Однажды Колпаков увидел, как Петровна, стряхнув с зонта дождевые капли, несла по коридору новенькие хрустящие боксерские перчатки, туго набитые волосом, чуть смоченные дождем и пахнущие кожей.

Колпаков, увидев это, юркнул к себе в комнатушку и стал прикуривать, ломая спички, задышал; острый приступ тоски и щемящего счастья сжали сердце, веки набухли, но Колпаков сдержал себя.

Когда же он увидел на коридорном шкафу отсвет от еще не потерявшей формы боксерской перчатки, похожей в темноте на невероятно раздувшуюся кошачью лапу, он возненавидел Юрку как взрослого человека и перестал его замечать.

Дни тянулись за днями, Колпаков ударился в чтение, записался в районную библиотеку, ходил туда с авоськой и долго, тщательно, выбирал книги, подглядывал, что берут другие.

В самом расцвете старости, когда кожа почти не выделяет жира и на руках, словно пеницилин, спокойно оседает пыль, Колпаков вдруг предался утрюмым старческим мечтаниям; он мечтал о невозможном, набивал авоську книгами о самых экзотических и жарких странах, и чтение их было не действием, а воспоминанием. Ему казалось, что все, о чем пишут в этих книгах, происходило, когда он был молодым; изредка он удивлялся и что-то вполголоса бормотал. Любил он брать еще журнал "Здоровье" и внимательно, словно сводки, читал ученые статьи с множеством непонятных слов. Одно время он даже устроился работать сторожем, начал слегка попивать на небольшой излишек денег, но вскоре оттуда уволился из-за обвинения в том, что сжег чей-то электрический чайник.

В квартире же было все по-прежнему. Петровна гасла вместе с ним, все реже выходя на улицу. Работы у нее всегда было невпроворот, но теперь она делала только необходимое и часто сидела на кухне, подперев голову рукой, а Любка, то есть Любовь Андреевна, как всегда много работала, придя домой, ела щи, или что там приготовит мать, а потом, ненадолго вздремнув, принималась за стирку.

Юрка сильно не вырос, но черты его лица стали правильными, стал он симпатичным юношей, но ходил сутулясь. Школу Юрка

закончил хорошо, после выпускных приходил по утрам домой с безумными глазами и заваливался спать. Он поступил на вечерний факультет Полиграфического института, днем где-то работал, Колпаков видел, как он, стоя по утрам перед зеркалом, может одеколоном прыщи, и, забираясь в свою комнату, разворачивал старый журнал с красочным разрезом трахеи. Во время отгульной, когда Юрку провожали в армию, Колпаков спал и сквозь сон слышал, как визжали девушки.

Зимними вечерами Колпаков аккуратно занавешивал окна, загибал концы занавесок за батарею, чтобы теплый воздух циркулировал по всей комнате; батарея напоминала Колпакову цедилку, как у кита, а может, у какой другой твари, о которой он читал в очередной книжке. Загнутые за батарею занавески, похожие на обмороженные уши, тихо волновались своими завитками, изгибами, плавными полными складками, чуть белесыми при свете лампы, они еле видно шевелили раковинами, прижав мочки к горячему крашеному железу и, казалось, потрескивали, но это ползли по стеклу, перебирая искристыми лапками, ночные морозные звезды. Колпакову надоела книга про Африку, он, опершись о спинку, поднялся со стула и пошел на кухню. Любка жарила рыбу и, сидя на стуле, переворачивала ее ножом. Золотисто-коричневые корочки тушек лоснились, с их боков в кипящее масло осыпалась серая мука.

Колпаков прошелся по кухне взад-вперед, переставил в шкафчике стаканы. "Юрка-то как служит? - спросил Колпаков, нюхая воздух и глядя на Любкины плечи.

Та очнулась: "Что!" - "Юрке долго служить, я спрашиваю?, - суетливо повторил Колпаков, поправляя брючный ремешок. "А-аа, - протянула и сразу оживилась Люба, - весной придет, когда..." - затараторила она свое, накрыв сковородку крышкой, глаза у нее заблестели, но Колпаков заставил себя закашляться и, замавав руками, что извини мол, исчез в коридоре.

Через несколько месяцев Юрку посадили. Он вышиб зубы молодому дневальному за то, что тот плохо помыл пол. Это узнал Колпаков от Любки, которая, вернувшись из части, рыдала на кухне, раскинув по столу руки и мотая головой с растрепавшимися седыми волосами.

А потом взяла, да и вышла замуж и уехала к мужу в другой район. И Колпаков остался с Петровной вдвоем. Но спокойной

жизни не получилось, он стал подозревать, что старуха слегка повредилась, когда увидел, как она мешает суп поварешкой, как-то странно мешает, два раза по кругу и вдруг резко — р-раз! — взболтнет, два раза по кругу и опять — р-раз! — И он начал пристально наблюдать за ней в дверную щель, как только представлялась такая возможность и обнаружил в ее поведении еще очень много странностей. Колпаков унес с кухни в комнату чайник и все свои кастрюльки, — от греха подальше.

Изредка наезжала Любка, привозила старухе индийский чай, прибиралась и уезжала. Выглядела она хорошо.

И вот теперь, когда Колпаков остался в квартире совершенно один, потому что старуху увезли сторожить квартиру нового Любиного мужа, вернулся из дисциплинарного батальона невысокий крепкий парень с ровным загаром на лице и короткими светлыми волосами.

Нельзя сказать, чтобы Колпаков испугался, просто он понимал, что должен начаться краж, а сил выносить надрывные молодые жалобы, похожие на угрозы, у него уже не было.

Колпаков за последнее время сильно сдал, стал хуже видеть, на улицу выходил редко, даже пенсию ему приносили домой.

Колпаков был рад, что Юрка ничего не стал у него спрашивать, а молча вышиб плечом дверь в комнату и надолго там скрылся.

Моло на лице уже засохло; оно сжимало и стягивало его. Старик помочил помазок в воде и начал бриться заново, руки дрожали, и он сделал несколько неглубоких порезов, жидкая кровь заструилась по шее, по подбородку, под ухом. "Нехорошо, ох нехорошо," думал Колпаков, залепляя порезы кусочками газеты.

Он пошел на кухню, забрал из ящика стола все свои ножи и вилки и отнес их в свою комнату. Потом собрал всю быющую посуду и тоже отнес. "Наведет сейчас приятелей и начнется таратарам, — с тоской представлял Колпаков последствия Юркиной радости, — переблуются все, а мне тут ходи".

Он решил даже уйти на целый день из дома, но подумал, что его, грешным делом, могут потом в дом и не пустить, и остался.

Чашки он разложил на кровати так, чтобы они не касались друг дружки, вилки и ножи спрятал в нижний ящик шкафа, посуду Колпаков любил.

Ему не понравилось, что одни вилки легли зубьями в одну

сторону, а другие в другую, и он положил все одинаково, газетные кусочки высохли и отвалились от лица. Ящик закрылся сухо, древесина крикнула. Колпаков надел чистую рубаху, подтяжки, затем причесался, роняя волосы на пол, и выровнял на полочке книги.

Осмотрелся. На столе чернели швейцарские часы, только сложные витые стрелки блестели тускло и медные цифры.

Два часа дня. Дверь резко отворилась, Колпаков поджал губы и резко вскинул голову — на пороге стоял переодевшийся Юрка и смотрел на Колпакова светло и нагло.

— Где все? — спросил он старика.

— А что я — знаю? — ответил Колпаков, чувствуя запястья — ми прохладную влажность чистых, чуть не хрустящих манжет, — Не знаю.

Юрка хотел еще что-то сказать, но сдержался и вышел, притворив за собой дверь.

Прошел час, другой. Колпаков попытался читать, но не читалось, тогда он вынул из кармана деньги, пересчитал их и положил на стол, на самое видное место.

Захотелось есть. Колпаков взял с кровати кастрюльку, пошел на кухню, сварил вкрутую два яйца и быстро съел их, кроша много желтка на вогнутые зёрнышки, после чего вернулся обратно.

Прошел еще час. Другой. Никто не приходил, не напивался, не тревожил его, только на дне двора о чем-то кричали дети.

Тогда Колпаков снял с чашек газету, положенную для защиты от мух. Чашки лежали посередине красного одеяльного ромба, блестящие, с золотыми ободками, с цветками по краям.

У Колпакова подогнулись ноги, и он упал на стул. Жгучие парафиновые слезы катились по щекам, и Колпаков размазывал их ладошкой, тихонько всхлипывая и ужасаясь собственному плачу, первому за последние лет тридцать-сорок. Старость кончилась.

Кончилась старость, а смерть, обманутая им в молодости, на него обиделась, или же вовсе про него забыла, крепкого.

Надулась и опала занавеска.

Ирина Ратушинская

СТИХОТВОРЕНИЯ

ж ж ж

Нет, мне не страшно: через год,
Дыша осторожными ночами,
Я доживу до той печали,
Назвать которую - исход.

Петух проплачет мне свободу,
А здесь - коленями в грязи -
Мои сады роняют воду
И воздух Севера сквозит.

И как нести чужой планете
Едва не слезы - как домой...
Неправда, страшно, милый мой!
Но сделай вид, что не заметил.

ж ж ж

Ну что ж - весна!
Улыбка обезьянки.
Лукавые очистки апельсинов,
Портовый воздух между влажных стен.
Нам ворожат
Печальные цыганки,
И мы во сне вдыхаем, обессилив,
Предчувствие дождей и перемен.
Ну что ж, пора...

ж ж ж

Кому дано понять прощанье -
Развод вокзальных берегов?
Кто может знать, зачем ночами
Лежит отчаянье молчанья
На белой гвардии снегов?
Зачем название - любовь?
А лучше б не было названья.

ж ж ж

Догорят наши письма - и будет хороший сентябрь.
Отшумят перелеты - и всех нас минуют потери.

Горьковатый покой
 Навсегда разольют по сердцам
 свет над вишней и дом за горою —
 И все, как хотели.

Мы залечим обиды,
 Забудем, как прячут глаза,
 Соберемся все вместе и сдвинем веселые вина.
 И с улыбками вспомним историю блудного сына —
 Эмигранта,
 Который с повинной вернулся назад.

ж ж ж

О, вы знаете слово?
 Да вы не поляк ли, мой милый?
 Королеве положено длинное платье.
 Да старушечий глаз —
 Присмотреть, чтоб достойно грешила,
 Чьи-то перья в пыли — да любовь —
 Да на четках распяты.

А у нас холода да беда —
 Не сезон для элегий.
 И на наш эшафот не прольется холопская жалость.
 Королевское "нет" нам осталось —
 Из всех привилегий.
 О, не спорьте, мой милый.
 Уж вам ли не знать, что осталось.

Ленинградский триптих

I

Этому граду никто не поднимат век.
 Улица взведена — только не побег!
 В городе мертвых — живому держать ответ.
 Слышишь — по лестничной клетке — их сапоги?

В этом забвении — век не расти траве,
 В этом молчании — только кричать во сне!
 Наше дыхание — здешней зимы трофей,
 И на губах у прохожих не тает снег.

2

Итак,
 Купанье Черного коня
 На Черной речке.
 Всплеск диагонали!
 И офицеры встали у воды.
 Итак — снега над белыми полями
 И вкус свободы тает на губах.
 Наш ход — из клетки в клетку.
 Нет, не плачь.
 Пусть не тебе — корона королевы.
 Не плачь, не снись.
 Мое каре смертельно.
 Как просто подстрелить мою планиду:
 Не росчерком — движением руки — одним...
 Не надо.
 Не смотри туда.
 Не в первый раз над белыми полями
 Такой декабрь —
 Смешенье пуль и крыльев.
 Зачем нам знать,
 Когда река чернеет?

3

Мать Божья, почему темно?
 Хочешь, я зеленую лампаду
 Затеплю?
 А впрочем, нет, не надо.
 Ты глядишь, как девочка, в окно:
 Чьи шаги звучат по Петрограду?
 И тебе еще не все равно.

Песня кошки,
 которая гуляет сама по себе

Серенький грустный дождь идет
 А я сижу на трубе.
 В подъезде кто-то кого-то ждет,
 А я сама по себе.

За мной протянулась цепочка следов,
 Стекает с усов вода.
 А дождь до утра зарядить готов,
 А может быть, навсегда.

Деревья будут чернеть сквозь туман,
 Руки подняв в мольбе.
 А я по крышам уйду одна -
 Опять сама по себе.

От злых и ласковых я уйду,
 И будет дождь, как теперь.
 Я знаю людей - и я не войду
 В раскрытую ими дверь.

Они погладить меня захотят,
 Позволят ходить по коврам,
 А если утопят моих котят -
 То мне же желая добра.

И снова будет чья-то вина
 Лежать на моей судьбе.
 Но я по крышам уйду одна -
 Опять
 сама по себе.

ж ж ж

Сегодня утро пепельноволосо.
 И, обнимая тонкие колени,
 Лениво наблюдает птичью россыпь
 Во влажном небе. Бремя обновлений
 Сегодня невесомо: ни печалей,
 Ни берега в бездонной передышке!

И ремешки отброшенных сандалий
 Впечатаны в скрещенные лодыжки.
 И безмятежный взор влекут осколки
 Витых ракушек, сохнувшие сети,
 Песчинки да сосновые иголки,
 Да звон и легкость бытия на свете.

Апрель 1983

* * *

По хлебам России бродил довоенный ветер,
 А смешной гимназист, влюбленный во все на свете,
 Изводивший свечи над картами Магеллана,
 Подростал тем временем. Все по плану
 Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом
 Бредил всеми землями, путая быль и небыль.
 - Апельсиновые рощи Сорренто, - шептал и слушал,
 Как чужие слова застилают печалью душу.
 - Варвары спустились в долину, - твердил он по-латыни,
 И рвалось, как из плена, сердце к этой долине.
 А когда уездный город Изюм занесло снегами,
 Он читал, как рабыни, давя виноград ногами,
 Танцевали над чаном под хохот медных браслетов,
 И от этого сохло горло, как прошлым летом.
 Со стены улыбался прадед в литых лосинах,
 Бесконечно юный, но потускневший сильно.
 Застекленный декабрь стоял, как часы в столовой,
 И смотрел, и ждал, не говоря ни слова.
 А потом весна-замарашка в мокрых чулках -
 Тормошила, смеясь, и впадинку у виска
 Целовала - и мальчик немел от ее насмешек.
 Все уроки - кубарем! Все законы - смешаны!
 Он бегал посмотреть ледоход, и ветер апреля
 Выдувал облака соломинкой. Марк Аврелий
 Ждал с античным терпеньем, открыт не на той странице.
 Продавали моченные яблоки. Стыли птицы
 В синеглазой бездне, выше колоколов!
 И для этой печали уже не хватало слов.
 И рука отчизны касалась его волос...

Он как раз дорос до присяги, когда началось,
 Он погиб, как мечтал, в бою, защищая знамя.
 Нам бы знать — за что нас так, Боже?
 А мы не знаем.

2 мая 1983,
 малая зона

Их пророки обратятся в ветер,
 В пепел обратятся их поэты,
 И не будет им дневного света,
 Ни воды, и не наступит лето.
 О, конечно, это справедливо:
 Как земля их носит, окаянных!
 Грянут в толпы огненные ливни,
 Города обуглятся краями...
 Что поделать — сами виноваты!
 Но сложу я договор с судьбою,
 Чтобы быть мне здесь
 И в день расплаты
 Хоть кого-то заслонить собою.

9 марта 1984

И предадут, и тут же поцелуют —
 Ох, как старо! Никто не избежал.
 Что ж, первый век! Гуляй напропалую,
 Не отпуская потомков с кутежа!
 Весенний месяц нисан длится, длится —
 Ночных садов мучительный балет.
 Что поцелуй? Пустая небылица.
 Все скоро кончится. За пару тысяч лет.
 Но этот месяц — на котором круге? —
 Дойдет до нас, и прочих оттеснят,
 И скажут нам:
 — Пойдем умоем руки,

Мы ни при чем. Ведь все равно казнят.

20 апреля

Мандельштамовской ласточкой
 Падают к сердцу разлука,
 Пастернак посылает дожди,
 А Цветаева — ветер.
 Чтоб вершилось вращенье вселенной
 Без ложного звука,
 Нужно слово — и только поэты
 За это в ответе.
 И раскаты весны пролетают
 По тютчевским водам,
 И сбывается классика осени
 Снова и снова.
 Но ничей еще голос
 Крылом не достал до свободы,
 Не исполнил свободу,
 Хоть это и русское слово.

25 апреля

Ну, так будем жить,
 Как велит душа,
 Других хлебов не прося.
 Я себе заведу ручного мыша,
 Пока собаку нельзя.
 И мы с ним будем жить-поживать,
 И письма читать в углу.
 И он залезет в мою кровать,
 Не смывши с лапок золу.
 А если письма вдруг не придут —
 /Ведь мало ли что в пути!/ —
 Оң будет, серенький, тут как тут

Серdito носом крутить.
 А потом уткнется в мою ладонь:
 Ты, мол, помни, что мы вдвоем!
 Ну не пить же обоим нам валидол,
 Лучше хлебушка пожуюм!
 Я горбушку помятую разверну,
 И мы глянем на мир добрей.
 И мы с ним сочиним такую страну,
 Где ни кошек, ни лагерей.
 Мы в два счета отменим там холода,
 Разведем бананы в садах...
 Может, нас после срока сошлют туда,
 Но вернее, что в Магадан.
 Но когда меня возьмут на этап
 И поведут сквозь шмон, -
 За мной увяжется по пятам
 И всюду пролезет он.
 Я его посажу в потайной карман,
 Чтоб грелся под стук колес.
 И мы сахар честно съедим пополам -
 По десять граммов на нос.
 И куда ни проложена колея -
 Нам везде нипочем теперь,
 Мы ведь оба старые зеки - я
 И мой длиннохвостый зверь.
 За любой решеткой нам будет дом,
 За любым февралем - весна...
 А собаку мы все-таки заведем,
 Но в лучшие времена.

8 августа 1984

ж ж ж

Лилии да малина,
 Горностаи, белые псы,
 Да знамена в размахах львиных,
 Да узорчатые зубцы.
 По настилам гремят копыта,
 Вороненая сталь тепла.
 И слетает кудрявый свиток
 С перерубленного стола.

А с небес — знаменья да рыбы,
 Чьи-то крылья и голоса.
 Громоздятся в соборы глыбы,
 Но пророки ушли в леса.
 Рук иудиных отпечатки
 На монетах — не на сердцах.
 Но отравленные перчатки
 Дарят девочкам во дворцах.

12 апреля

ж ж ж

Я доживу и выживу, и спросят:
 Как били головою о топчан,
 Как приходилось мерзнуть по ночам,
 Как пробивалась молодая проседь...
 Я улыбнусь. И что-нибудь сострою
 И отмахнусь от набежавшей тени.
 И честь воздам сухому сентябрю,
 Который стал моим вторым рождением.
 И спросят: не болит ли вспоминать,
 Не обманувшись легкостью наружной.
 Но грянут в памяти былые имена —
 Прекрасные, как старое оружие.
 И расскажу о лучших всей земли,
 О самых нежных, но непобедимых,
 Как провожали, как на пытку шли,
 Как ждали писем от своих любимых.
 И спросят: что нам помогало жить,
 Когда ни писем, ни вестей — лишь стены,
 Да холод камеры, да чужь казенной лжи.
 Да тошнющие посуды за измену.
 И расскажу о первой красоте,
 Которую увидела в неволе.
 Окно в морозе! Ни дверей, ни стен,
 И ни решеток, и ни долгой боли —
 Лишь синий свет на крохотном стекле,
 Витой узор — чудесней не приснится!
 Ясней взгляни — и рассветет сильнее

Разбойничьи леса, костры и птицы!
 И сколько раз бывали холода,
 И сколько окон с той поры искрилось -
 Но никогда уже не повторилось
 Такое буйство радужного льда!
 Да и за что бы это мне - сейчас,
 И чем бы этот праздник был заслужен.
 Такой подарок может быть лишь раз.
 А может быть, один лишь раз и нужен

30 ноября 1983

Ирина Ратушинская родилась в Одессе в 1954 году.
 Окончила физический факультет Одесского университета.
 Осенью 1982 года была арестована по обвинению в "изготовлении и распространении" собственных стихов.
 ПРИГОВОР: семь лет лагерей и пять лет ссылки. В 1988 году была освобождена и выехала для лечения в Англию. Затем лишена советского гражданства.

Тексты печатаются по изданию: Ирина Ратушинская.
 Я доживу. Стихи. NEW YORK, 1986.

ВОСПОМИНАНИЯ

Эти записки отец начал систематически вести года за три до смерти. Но еще раньше, не раз и не два, отдельные сюжеты-байки обкатывались в устном варианте. Рассказчик он был великолепный...

В итоге - девять толстых больших тетрадей, исписанных мелким, трудно поддающимся расшифровке почерком. Ему было о чем рассказать. Семья кадрового офицера, война - от первых до последних дней, Политех, радиационная физика, первые опыты с плазмой, работа в Императорском Университете Аддис-Абебы от Юнеско, в последние годы - экология.

Все это вписано в личный и семейных контекст, на всем - ясный отпечаток индивидуальности, собственного взгляда на людей и на жизнь с ее разнообразными нелепостями.

Трудно судить, обладают ли эти записки литературными достоинствами, да и вообще - какие критерии к ним применимы? Вещь, очевидно, на грани, на стыке жизни и литературы.

Будем ли мы дальше публиковать эти странички в нашем издании - зависит от восприятия, от реакции читателей. Отец никогда напрямую не говорил о том, что он хочет видеть их напечатанными, однако о том, что мы готовим отрывок для "Сумерек" - знал. Когда был готов машинописный вариант, он уже не мог читать. Скоро его не стало...

После всех тягостных хлопот, связанных с похоронами и прочим, в его бумагах нашелся листочек, на котором он пробовал шрифт только что купленной по случаю старинной машинки "Континенталь". Одна фраза меня остановила.

"Не за то я терплю страдания неумения выразить себя, что нечем, а за то, что некому!"

Пусть это будет эпиграф. Хотя бы теперь...

... Наш артлагерь был еще при царях. Древним был и полигон. Сюда, в Лугу, выезжали три ленинградских артучилища. Большущие склады. Полк АКУКС /Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава". Просто полигон и еще опытный полигон со своими службами и многое другое. Все каменные постройки — начала века, из красного кирпича с белой отделкой, добротные и приземистые, и люди под стать. Из этих людей и техники и получился потом Лужский Рубеж, в основном артиллерийский.

А ранним, ясным воскресным утром над этим строго распланированным укладом, над пищеблоками, палатками и красными складами и домами появилось нечто марсианское, фантастическое, почти беззвучное, какая-то рама. Она то сверкала на солнце, то исчезала, ее было видно то выше, то вдруг ниже. Нас разглядывали. Дневальные заорали: "Самолет в воздухе!" Другие кричали правильнее: "Воздушная тревога!" Мы повскакали и не знаем, что делать. Тут подбежал, делая одной ногой шаг покороче, чем другой, наш подполковник. "Наши палатки демаскируют наше расположение. Даю две минуты. Свернуть палатки, всем в лес". Была бы команда — исполнение будет! И вот мы в болоте, в 5 часов утра 22 июня 1941 года. Сыро, непонятно — как завтрак?

Рама сняла всю нашу суетню своими телевиками, улетела. Следующая команда: "Из кустов не высовываться, принести пищу в термосах". Термосов при нас не было, они вообще если и были, то на складе. Приволокли варево в столовских бачках, забыли взять ложки. Оказалось, что четверо уже вчера сперли ложки и торжествуя вытащили из-за голенищ. Так и позавтракали в очередь...

Тут пришла команда раскинуть "ложный" палаточный лагерь в 2-х километрах от истинного. Все мы должны разместиться в ложном лагере, какой же он ложный? Возились целый день. Пришло начальство, в какой-то тусклой форме, знаков различия не видно. Почему-то при бинокле.

Нам официально объявили, что коварные немцы вероломно нарушили нерушимое слово, но они будут разбиты. Безусловно. А лагерь все-таки нужно перенести в более укромное место. ... Пожалуй, правильно. Если бы немцы решили бомбить наше "ложное" расположение, вот уж нам досталось бы!

В следующие дни были выпущены комвзводами второкурсники,

им дали настоящие командирские ремни с компасом и свистком. Свисток для подъема в атаку, неважно, что они назначались командирами орудий большой мощности, а компас — если заблудятся со своей большой мощностью где-нибудь в тылу у врага. Еще им дали каждому сумку-планшет и лихую фуражку с черным околышем: черный околыш — значит артиллерист! А вот штаны и гимнастерки были курсантские. Кто же знал, что будет война, все командное обмундирование было в Ленинграде. Недопеченные комвзводы пачками исчезали. А нас обрадовали: мы будем проходить ускоренный курс военного времени — 6 месяцев. Почему шесть? Ведь война кончится, а мы так и будем палатки с места нам мотать таскать! И таскали. Еще два раза. Кроме того, бегали кругом нашего неуклюжего орудия, отрабатывая команду "Орудие к бою!" Учились привязке орудия к местности, занимались тактикой по картам территорий около нашей старой границы. Карт на Западную Белоруссию или Литву еще не успели для нас напечатать. Сейчас там временно немцы. И было неясно, как далеко нам придется их отбрасывать. Мы ничего не знали, ничего не видели, только готовились к неизвестному будущему на неизвестных полях сражений и битв.

II июля. Тревога, мы заслон. Выдали боевое оружие — польские карабины и 30 патронов, трофеи 1939 года. Мне повезло, достался наш ручной пулемет и три диска к нему. Пошли в Лугу как берсальеры, где полшагом, где полубегом. На лужском вокзале беженцы, их увозят в теплушках, все озабоченные и молчаливые. Мы стояли неподалеку строем, ни один из трех составов при нас никуда не ушел, а там и сям кучки красноармейцев — недельная небритость, пилотка развернута и натянута до ушей, шинель внакидку, обмотки, оружия не видно. Варят в котелках что-то на огне, устроенном среди кирпичей.

Узнали, что это войска из-под Риги, немцы уже в Острове. Мужик, сказавший, был непохож ни на штатского, ни на военного, он поблагодарил нас за папироску и как-то исчез. Наверное, шпион — подошел, пересчитал нас и исчез!

Стало проясняться слово "заслон". Начало темнеть. Подошли какие-то невоенные грузовики. Мы в них набились и поехали. Я тут знал каждый куст. Вот городок, вот поворот на Скребков^о, вот кон^завод со своим ипподромом.

Машина остановилась. Мы с Лешей услышали свои фамилии, пошли за старшиной. Он всю дорогу молчал. А я узнал местность — это речка Серебрянка, мы идем по ее северному берегу. Шли, шли, дошли. Тут впервые заговорил старшина: "Вкопаться, держать под прицелом мост, действовать по обстановке"; и растаял в сумеречном лесу.

Мы первый раз в жизни окапывались. Когда стало темно, мы ушли в землю по грудь. Чем глубже, тем копать труднее. Лопатка невелика, а в окопчике пошла галька. Небольшой железнодорожный мостик на линии Псков — Луга — Ленинград. Дорога Варшавская — значит, где-то на Западе Варшава, а если наоборот, то 180 км до Ленинграда. Небольшой мостик, небольшая речка; небольшие кусты.

Решили спать по очереди. Нам никто не помешал. В голове какая-то муть, сильно пахнет болиголов, его тут заросли. Когда окончательно рассвело, стали понемногу подкапываться поглубже. Польский Лешин карабин оказался хитрым, у него затвор запросто вываливается, едва разгадали, как сделать так, чтобы держался. Но уверенности не было. Ручной пулемет я чуть-чуть знал по плакату на стенде. Вроде бы все в порядке.

Захотелось пить, захотелось есть. Воду добывали, поднявшись выше по Серебрянке (а то мы свою "позицию" демаскируем). У нас было по пачке горохового концентрата и по три больших ржаных сухаря. Сухари съедобны, а горох чересчур солон. И опять все тихо.

На вторую ночь нечаянно уснули оба. Проснулись от холода и какой-то непонятной тревоги. Уже второе утро, а к нам никто, ни с той, ни с другой стороны. Старшины все нет, а ведь, наверное, один он и знает, что мы тут сидим, как сказал Леша, "на местности безызвестности". Разговаривали между собой мало. Не знали, что говорить, что делать.

И вот, когда солнце уже вставало, что-то в той стороне за речкой зашумело, заметили что-то вроде дыма над лесом. Скоро все было ясно, к нашей боевой позиции приближался остав... Вот он тормозит, вот останавливается, не доехав до моста. Что такое? Распахиваются двери, из вагонов вываливаются немцы. Все с полотенцами, все в нижних рубахах, все с зубными щетками. Торопятся к нашей Серебрянке зубы чистить. Мы переглянулись. И тут я саданул очередь в диск длиною. Никто не упал, все по-

бежали, я переставил диск, переприцелился и дал по вагонам. Куда там! Я, наверное, и до Серебрянки недострелил. Да откуда мне знать? Но немцы испугались больше, чем я.

Паравоз погудел, погудел и тронул состав, чтобы везти всех назад. Ясно, что во второй раз они не зубы чистить явятся. Ясно, что мы брошены и что все уже отошли. Мы, не сговариваясь, выползли из своего окопчика. У меня остался еще диск, у Леши карабин и 30 патронов, правда, не опробованный в бою, неизвестно, будет ли он стрелять. И мы рванули к шоссе тропой старшины. Пыхтели и топали, пока не вышли на шоссе. Оно было бесконечно пусто в обе стороны.

Вдруг со стороны Пскова мы увидели какую-то лохматую машину. Это трепыхался брезент. А под ним связка бумаг. Машина круто тормознула. "Вооружены? Патроны есть? Садись на задний борт, отстреливайся, если что". Мужчина снова влез в тесную для него кабинку, а мы втиснулись между какими-то тетками, За спиной архив сельсовета, из-под колес убегает пыль, и опять никого, ни в кустах, ни в канавах. А все-таки мы придержали немцев на десятък минут. Не знаю, были ли это доблестные войска Рейнгарта или Майнштейна. Нечего им наступать в вагонах.

Много лет спустя я прочел такую официальную фразу: "Наша часть в районе Порхова, Острова, Пскова отошла 10.07.41 на восток (не на Лугу!). Укрепрайон не был своевременно занят, так как пополнение было задержано (раздолбано) немецкой авиацией на станциях выгрузки. От Пскова до Ленинграда регулярных частей не было. Позднее, 14-17 июля, был создан Лужский Рубеж".

Если этот рубеж создавало такое точечное сопротивление, какое было у речки Серебрянки, то слово "рубеж" - это излишний пафос. Правда, 150-200 тысяч ленинградцев строили какой-то рубеж, но я лично никаких признаков его не видел - ни тогда, ни потом, в толстых книгах о Ленинградском фронте он не нарисован. Правда состоит в том, что встретив наш огонь под Лугой, немцы ушли через Гдов к Кингисеппу своими главными силами, и почти никаких крупных боев под Лугой, в Луге и после Луги не вели, а позже все лужское войско попало в окружение...

Ну вот, наконец, наш брезент в Луге, мы соскочили и пошли к своим ложным палаткам. Там вовсе шли сборы, подготовка к эвакуации. Нас не ругали и не хвалили. Наш отделенный Громтире-басов не знал того чужого старшину. При построении за нас

отвечали: "Выполняют задание", какое - никто не знал, но счет сходился. Теперь мы снова в строю.

Через несколько дней после Серебрянки, 2 августа, я был назначен в караул, на пост к вывезенному из лагерей имуществу. Это рядом с вокзалом, где есть погрузочные, приподнятые над полотном площадки. Караульный Устав я уже знал: "Стой, кто идет? Разводящий ко мне, остальные на месте!" и тому подобное. Я сжимал польский карабин. Я уже знал, как он стреляет, один парень из наряда показал. Стою, осматриваюсь. Окажется, я стою среди гигантских штабелей гигантских снарядов.

И тут-то и начался главный звездный налет немецкой авиации на железнодорожный узел Луга, уж больно много там эвакуированных скопилось. Значит - они прут с разных сторон на мой склад, бросают бомбы, много бомб, все подсвечено, как на сцене, теми же немцами. Одновременно с десятков парашютов со светящимся составом спускается медленно-медленно на меня и на станцию. Стоны, крики, матерщина. Я не знаю, что лучше, отбежать от моих гигантов-снарядов, вдруг рванут, или около них притулиться - все-таки защита. Загорелась шпалопропитка. И надо же - всю копоть несет в мою сторону, да и жарко стало. Интересно, рвутся ли снаряды от такой жары? Где этот чертов разводящий? Где зенитчики?

Я простоял двойную смену. Там, где караулка, тоже бомбили. Шпалопропитка, то есть ямы с креозотом, горела все сильнее и дымнее. Вокзал был полуснесен, горели какие-то малочисленные вагоны. Разводящий ржал над моим копченым видиком безо всякого чувства юмора. Я повесил за плечо свой бывший желтый, ныне черный польский карабин.

Прошло еще несколько дней, и мы грузили мои страшные снаряды на неповрежденных запасных путях. Не такие ж они громадные: калибр 203 мм - 100 кг, калибр 280 - 160 кг, к концу погрузки они снова стали большими и тяжелыми.

Очень мешали какие-то интенданты, каждый пекся о своем грузе, каждый махал своим пистолетом, на петлицах не знаю сколько кубиков. Мы добавили к своим снарядам невесомую военную аптеку, наверное, в ящиках не металл, а бинты да вата. Какой-то идиот привез на лошади все шайки из лужской бани, связанные по 10 колючей проволокой. Наконец, снаряды, вату и

шайки два паровоза потянули в Ленинград. На другой день грузили народное имущество, немного станков — откуда в Луге станки? — много бумаг, ящики с обувью из сапожной мастерской. Оказывается, тот идиот на лошади все перепутал, его шайки должны были быть на этом поезде.

Стал стихать и этот поток. На юге видно зарево. Неужели мой Городок? Все оставшиеся вагоны — классные, пригородные, товарные, ледники и почтовый — были битком набиты курсантами. 13 августа мы прошались с горящей Лугой. Это был почти последний состав. Все набито до отказа. Весь наш состав охранялся строго — гражданских не пускать! Особо охраняли почтовый вагон — там, должно быть, увозили какие-то лужские секреты. Может быть, списки актива, может быть, списки выпущенных на волю заключенных, или данные о лужских урожаях и наличии поквартального рогатого и безрогатого скота...

Не доехали^{до} Сиверской. После Мшинской, на наш эшелон налетел один немецкий самолет, немец первым делом точно плюнул две бомбочки, одну перед паровозом, другую за хвостовым вагоном, потом стал разворачиваться, чтобы нас хулигански расстрелять. А мы толпились справа и слева от состава, недалеко от полотна, потому как дальше болото. Раздался рев самолета и одновременно рев команды: "По стервятнику — огонь!" Нас было много, и все мы стали стрелять, кто куда. Самолет выпустил длинную очередь по вагонам. Полетели щепки. А мы лупили и лупили. Мне чуть голову не снес какой-то тип, который целился, целился, пока моя башка не появилась в прицеле, тут он и дернул. Подпалил волосы, слегка контузил, с двух метров не попал. А самолет пострелял и улетел, вероятно, за подмогой. Мы не знали, что — Ю-88 пузо бронированное и обычная винтовочная пуля снизу его не берет.

Мы аккуратно закидали воронку, притащили рельсы, которые лежали на козлах рядом с полотном. Машинист через такую временку не поехал. Тогда мы все дружно вывели паровоз на левый рельс и приподняли его над правым. Нас было очень много. Перегнать вагоны было проще. Путь на Сиверскую был открыт. Я снова залез в почтовый вагон и фельдгегерям, опечатанным мешкам и подполковникам. Больше происшествий не было.

Вот и Ленинград. У варшавского вокзала полно газировщиц, продают любые дорогие папиросы — "Антракт", "Пальмира", "Герце-

говина"... Продают арахис. Женщины в легких платьях, мужчины в летних брюках. Мы подтянули ремни, смахнули с сапог дорожную пыль. Вдруг команда - "Становись!" В училище шли пешком! Это же ведь марш-бросок на 12 км. Оказалось, что наши полит-начальники хотели, чтоб в трамвае не поползли слухи, что Луга падает. А пока мы топаем, со штатскими на поговорись.

Луга пала окончательно 23 августа. Дело в конце концов не в Луге, а в том, что от Луги до Ленинграда, вернее, до Урицкого укрепрайона, не было ни одного гарнизона, ни одного рубежа, вообще никакого регулярного войска. 177-я стрелковая дивизия была дивизией только номинально, да и она застряла под Лугой. А дальше никого и ничего. Сам видел. 4-я танковая группа Гепнера - главная танковая сила немцев - в наступление на Ленинград по кратчайшему пути через Лугу не пошла, курсанты, что ли, ее пугали? Ведь через Лугу проходит магистральное шоссе, шире только дорога Москва - Ленинград. Вместо этого по неудобной дороге они пробрались к шоссе Таллин - Ленинград. Там были два училища и дивизия народного ополчения. Все они молодцы, но немецкие танки оказались сильнее и прошли от Кингисеппа до Гатчины за несколько дней. Так немцы оказались "у стен Ленинграда".

А мы в это время топали по городу, пялились на девушек. Город казался мирным и даже беспечным. В родном училище все было на месте, в том числе и наша толстуха калибра 280 мм. Началась свирепая стационарная учеба в бешеном темпе, мы осваивали все сразу: матчасть и продовольственное снабжение, противогаз и винтовку. Старший лейтенант Ткаченко зубрил с нами наступление роты. Причем тут рота? Орудия большой мощности никогда с ротой не взаимодействуют. Роту в обороне вообще не изучали, ее, обороны, и в Уставе не было. А как должен действовать артиллерист, по-пехотному обороняя свои орудия, - эта проблема для Ткаченко казалась кошунством. Зато мы отрабатывали "вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей". Если и бывали в войну рукопашные бои, то штыковых не было вовсе. Вот и мы вонзали штык в чучело неизвестно зачем, да и не мы одни.

Были и политзанятия. Напирали на вероломство немцев и никаких намеков на нашу растерянность. О, как подскочил политрук, когда его с невинным видом спросил один курсант: если сказано, что бои ведутся на Смоленском направлении, это означает,

что Смоленск у немцев, или еще у нас? А другой пробормотал, если тяжелые бои — значит, уже Смоленск отдали. Тот же преподаватель учил, как нужно политически обрабатывать подчиненных бойцов. Они, говорил он, сначала по-разному развиты политически, а вы должны добиваться того, чтобы они были политически одинаковы. Чуть какая-то. Ему же принадлежит бессмертное указание "Все приказы помнить не нужно — нужно наизусть знать последний!" В училище уже официально поговаривали о возможной отправке нас в глубь страны.

Я в подготовке к эвакуации не участвовал. Мне повезло. Когда я снова был в карауле, на этот раз в артпарке, со мной случилась беда — я присел на станину шестидюймовой пушки-гаубицы. Откуда-то выскочил инженер-майор. Интенданты и техники-инженеры в армии самые злые строевики, только начхмы еще злее, наверное, от уязвленного самолюбия — какие они командиры — но они все уставы знают назубок, попробуй-ка им небрежно честь отдать! Этот майор распек меня (а я ведь мог его и не пускать на пост) и убежал вприскок. Меня сняли с поста — и вот тебе — 10 суток строгого ареста. Меня без ремня и пилотки отвели на гауптвахту, где-то за моргом Военно-медицинской академии. Камера, решетка, забранная щитом, видно только 50 на 20 сантиметров неба, деревянный чурбан, параша, постель, волосяной матрас только на ночь. Горячая еда через день. По коридору шагает часовой и шелкает заслонкой глазка. И все это из-за станины гаубицы 152 мм.

Оказалось, что я не прав. Вся эта строгость относилась не лично ко мне, а к нам с соседом. Сосед мой был единственным летчиком-финном, сбитом в ленинградском небе в июле 1941 года.

Просто невероятно, сколько старого и нового имущества может накопиться в училище за 100 лет. Ребята упаковывали, грузили в машины, перегружали в вагоны, а я сидел и ничего не грузил, совесть моя была чиста, я и не знал, что все в мыле. Наконец 4 сентября меня под конвоем повели в отдельный арестантский вагон емкостью в 40 человек. Независимо от маршрута и событий мне оставалось провести в нем оставшиеся 4 дня ареста.

Мы проскочили Мгу. Мгу защищали 700 бойцов майора Борцова. Эта сборная часть отошла от Новгорода, почти не имела пат-

ронов. У немцев было все — и патроны, и танки, и всего три дивизии, одна танковая, одна моторизованная, одна пехотная. Так что через три дня после того, как мы с конвойным проследовали через Мгу, началась 900-дневная блокада Ленинграда.

В Тихвине кто-то шибко умный вытряхнул меня и конвоира из вагона. Дальше мы ехали на платформе, в кабине грузовика. Конвоир приносил мне еду, нарушая караульный устав, но он верил, что я голодный не убегу в придорожные кусты. Мы разглядывали по очереди Череповец. Вологду, Ярославль, и наконец — Кострома. Станция назначения.

Территория для нас была оборудована так: бараки-землянки, нары трехэтажные, сортир один на два барака, умывальник на свежем воздухе и один на все бараки. Сентябрь, становилось холодновато, надо топить. Топить нечем. Я, уже освобожденный от ареста, ждал комсомольского собрания, где меня должны были исключить из комсомола с формулировкой "сон на посту". Почему-то не исключили. На радостях отыскал сарайчик, где в бочках был асфальт, надрал досок столько, что в бараках два дня было тепло. Я уверял, что и асфальт горит. Кто верил, кто предлагал попробовать, кто вони боялся, но большинство было твердо против из-за нашего подполковника. Он был сущим наказанием в том, что касалось топки. Когда-то в доисторические времена у него угорели курсанты. И вот с тех пор он метался от печки к печке и проверял угар. Чутье у него было дивное, из-за этого вьюшка попадала на место, когда печка выстывала наполовину.

Очень мучил нас старший лейтенант Ткаченко. Теперь он проводил свои тактические занятия в поле. Приведет, поставит и долго-долго объясняет задачу. Очень мерзли ноги, особенно подошвы, такая уж у нас была обувь. А он стоит в своих хромовых сапожках тонкого товару и хоть бы что. Холод его не берет.

Иногда везло, объяснения его мы слушали на краю брюквенного или свекольного поля. Перепадал приварок, который был больше самого пайка. От такой тактики на следующем занятии у орудия мы не бегали, а летали. В одном таком полете и замку орудия 280 мм я распорол брюки от колена до колена по внутреннему шву. Уж на что был строг старшина, сменил все-таки брюки, выдали какие-то темно-зеленые, теперь я в строю был

предметом особого внимания командиров: все в хаки, я в густо-зеленом, как жаба среди лягушек.

Наш дивизион был больше чем наполовину укомплектован ребятами из Окуловки — это на Октябрьской магистрали между Малой Вишерой и Бологое. Хваткий народ, умели найти и съедобные корни, и ягоды. Рябина у нас считалась лакомством.

В Костроме, в увольнительной, я был один раз. Сфотографировался, и фотография сохранилась. Костромичи ходили какие-то тусклые, пришибленные. Они тоже недоедали. Ничего съедобного нигде, даже на рынке, мы не нашли. Попробовали пить местное гнусное пиво. Окуловцы говорили, что пиво все-таки ничего, у них в Окуловке хуже. Никакой водки, ни подпольной, ни легальной не было. За ней люди ездили в Ярославль. Вернулись мы в училище ничего, кроме пива, не хлебавши.

В ночь на 16 октября 1941 г. — тревога. Построение, повышенные строгости в форме. Непонятно. Еще непонятнее — "Разобрать оружие". Если сначала была свалка из-за парня, надевшего один свой, другой чужой сапог, это-то случилось частенько, все-таки нары трехэтажные, а сапоги стоят в ряд, то после команды "Разобрать оружие" была куча мала у пирамидок с оружием, и все равно не все со своим карабином в строй встали.

Подполковник держит речь. "Вы уезжаете на ответственное задание, мы, ленинградцы, должны помочь Москве". Что это значит — непонятно, и почему окуловцы стали вдруг ленинградцами? Несколько часов тряслись на деревянных скамейках грузовиков. Наш маршрут — Кострома — Владимир — шоссе Москва-Горький. Мы — боевая часть КПШ, контрольно-пропускного пункта, кроме нас — курсанты школы НКВД, 6 милиционеров, люди в штатском.

На горьковском шоссе — поток удирающих из Москвы "законно" и незаконно. Грузовые машины с грузом, грузовые машины с людьми, целые колонны машин и много-много легковушек. В 1941 легковая машина — роскошь или знак места на служебной лестнице. Изредка попадаются даже велосипеды. Проверку проводят "воины" НКВД и двое в штатском, мы с двух сторон целимся в колеса. Вариантов проверки несколько. Грузы проходили сравнительно легко, только небольшая часть шла на площадку, в отстойник, а грузовику разрешалось вернуться в Москву, часть шла дальше с закрашенными нами номерами. Труднее всего было с лег-

ковушками, там ковры, перепуганные знатные дамы, иногда посторонние женщины с детьми, "хозяин" за шофера, без прав, или шофер без хозяина. Мы целимся в колеса и в того, кто за рулем. "Документы"! "Проезжайте (вылезайте)" и самое грозное: "Всем покинуть машину, приготовить документы". Даша добыча росла медленно, но неуклонно. Расстреляно в овражке уже 16 человек. Поток машин не становится меньше. В Москву никто не едет. Устроили три поста, параллельно, уступом, заняли всю дорогу. Милиционеры уехали в Москву, там начались грабежи и хищения. От беглецов, удиравших на Горький, мы узнали, что самое-самое начальство убежало в Куйбышев, что не работают булочные и аптеки, словом, они паникуют правильно, хорошо, что достали бензин...

Вечером 18 октября мы увозили благодарность в Кострому. В течение этой операции меня почему-то два раза вырвало, живот прилип к позвоночнику, но дело было сделано. С нас взяли коллективную подписку о неразглашении государственной тайны и удивились, что мы еще не принимали присягу...

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ТЕНЬ

"Я передаю, но не творю;
я искренне уважаю древность".

Конфуций

Чем является мысль, кроме того, что она есть реакция /?/ мыслящего на тот или иной эпистемологический факт /факт Культуры/, отношение, выражаемое субъектом по поводу данного факта? Имеет ли она самостоятельную ценность вне культурного контекста в условиях, когда именно по ле культуры есть поле существования в с е х эталонов человеческих ценностей?

Подобный вопрос можно поставить также относительно поступка /действия/, слова, и тогда становится ясно, что мысль-слово-действие есть реакция Человека на не созданные им формы, символы, знаки, на не созданную им Культуру, и, следовательно, мысль - слово-действие Человека - всего лишь эпизоды, слова некоего метафизического Языка, посредством которого Культура ведет диалог сама с собой.

Единственно приемлемой трактовкой Человека для меня могла бы стать следующая: Человек есть прежде всего и д е я ч е л о - в е к а, выдвигаемая той или иной эпохой, той или иной культурой. Называя "Человек", я тут же приписываю ему предикат: Человек Возрождения, Первобытный Человек. Так, например, если я определяю человека как нечто, что обладает идеей Бога, то данное мое высказывание замкнуто на себя, если я не апеллирую к конкретной культуре.

Равно как если я пытаюсь выразить Человека посредством танца, то в случае, если язык этого танца выпадает из собственно Языка Танца как вида искусства, то мое изображение не воспринимается, "не читаемо"; если же мой танец входит в данный вид искусства, то всегда можно определить его жанр, к какой культуре он принадлежит и, следовательно, какую концепцию Человека я здесь пытаюсь все это время изобразить. Утверждая так, я стою на позициях человека, имеющего некое отношение в Культуре и говорящего на ее Языке. И это единственная предоставленная мне воз-

мощность вообще как-то выразить свое отношение к предмету. Другой возможности, другого языка у меня, к сожалению, нет.

"Беспредикатный" человек нам либо неинтересен, поскольку он не проявил себя, либо мы ничего не можем о нем сказать, не отказавшись от Языка Культуры.

+++++

Из вышесказанного следуют по крайней мере две проблемы, на которые стоит обратить внимание: во-первых, признавая факт, что говорить о человеке в терминах Культуры - то же самое, что характеризовать саму Культуру, мы тем не менее не застрахованы от того, что наша концепция Культуры, к примеру, классической эпохи, есть плод воображения группы мистификаторов во главе с каким-нибудь веселым Бомарше, а не есть, так сказать, "объективная" истина; и во-вторых... Вторую проблему я могу сформулировать лишь в качестве предположения: Человек есть временное образование не только в смысле своего физического существования, но также и в смысле произведения Культуры, как носитель и воплощение ее.

Человек как временное образование имеет свое начало и конец, он движется во времени, умирая и возвращаясь вновь, именуя и переименовывая мир вокруг себя, пересматривая каждый раз свои ценности. И в этом акте "вечного возвращения" осуществляется нечто главное: из миража, из хаоса движения формируется и формулируется основание, на котором сначала робко и гибко, но вместе с тем необратимо устанавливается с м ы с л - Миф о Человеке, его тень, покрывающая зачастую самого Человека.

+++++

В начале нашего столетия Т.Мани охарактеризовал состояние бытия человека как перманентный конфликт между этикой и эстетикой, в противовес общепринятому толкованию этого конфликта как противостояния этики и жизни. Естественным продолжением мысли Манна было бы понимание разрешения данного противоречия в формировании новой категории - Нравственности, что явилось бы симптомом нового Человека, новой Эпохи, но...

Не надо обладать особой прозорливостью, чтобы в бурлениях современных экономических, эстетических, моральных течений разглядеть неукоснительное стремление нашей эпохи к эпическому. Наша эпоха тяготеет к Толстому, к Брукнеру, к новому эпическому

герою: современное европейское сознание опять, как и всегда в периоды кризисов, ориентировано на Восток в поисках отдохновения от своей рассудочности, расслоенности; обогнув петли экзистенциализма, растворив в себе идею голого бунта, современный разум, насытившись аналитикой и классификаторством, малоспособный к мифотворчеству, объявив мифотворчество болезнью, выдвигает не просто эпического героя, но героя нового типа — интеллектуально-го эпического героя; создается идея Объективного Человека.

Современный гуманитарий, насквозь пропитанный энциклопедизмом, — этим своеобразным воезнайством, эквивалентом поверхностности во взгляде на вещи, — если и говорят о принятии научных методов, то именно потому, что видит в науке наилучшее приспособление для системотворчества и классификаторства, пропуская преимущество более ценное — возможность спекулятивного, парадоксального описания мира. Поэтому, если гуманитарий говорит о необходимости синтеза той же этики и эстетики, то всегда имеет в виду под этим не качественно новое, нечто лучшее и высшее, а в той или иной форме подразумевает математическое суммирование, и тем самым абсолютно не застрахован получить в результате подобных выкладок хороший "ноль", что в принципе и получается, когда он провозглашает в качестве современной идею Объективного Человека, идею, логически вытекающую из современного состояния Культуры, идею позитивную для сознания с точки зрения экзистенциализма, но с точки зрения нравственности весьма похожую на приговор.

+++++

Современный Человек — Объективный Человек. Вот уже полтора столетия просвещенный европейский ум занят поиском общих законов миропорядка и попытками доказать, что все явления мира могут быть подчинены некоторому числу всеобщих законов, называя эти законы весьма подозрительным словом — е с т е с т в е н н ы е законы развития. И действительно, если окинуть взглядом всю историю развития знания о мире, то можно убедиться, какую веселую шутку сыграло это словечко с пытливыми умами. Были времена, когда считалось е с т е с т в е н н ы м, что Солнце — центр Солнечной системы и центр Вселенной, так же как еще ранее столь же естественным считали центром Вселенной — Землю. И дело тут не в массовой убежденности или "очевидности", а в том, что так оно и было на с а м о м д е л е, и никому в голову не пришло

бы, не будь на то необходимости, доказывать, что это не так. Вся жизнь, вся Культура доказывали, что это как раз так и иначе быть не может.

Следы естественного развития можно найти и в Истории, когда она пытается выудить там корни своего метода — науки. Начиная с эпохи зарождения древнегреческих цивилизаций прослеживается эволюция духа. Возникновение, выделение и развитие абстрактного мышления приходится на период социального переустройства греческого общества — объединения землевладельцев в демосы, но вместе с тем — абстрактное мышление есть и результат выделения его из мифологического мышления. При проецировании этого совпадения на Историю делается довольно странный вывод. С одной стороны, о естественной справедливости естественного развития, поскольку оно естественно приводит к демократизации, а это, в свою очередь, к прогрессу, т.к. набирает силу рост научного знания; а с другой стороны, — научное мышление естественно является абстрактным мышлением, и почему-то не замечается, что с точки зрения того же мифологического мышления научное абстрактное мышление выглядит как нельзя лучше вульгарно-конкретным.

А наиболее изощренные в классификаторстве умы идут еще дальше, объявляя мифологическое мышление заведомо враждебным все тому же естественному развитию, поскольку оно /мифологическое мышление/ в условиях демоса невозможно, но тут же говорят о мифологическом мышлении как о прерогативе обыденного сознания.

Излишнее увлечение аналогиями там, где это недопустимо — в познании, поиски характерного, общего в ущерб частному и неповторимому ставит с ног на голову саму идею развития, поскольку от развития теперь требуются "доразвивать" частное до необходимости естественного принятия им законов общего. Так понимаемому развитию уже мало того, что частное и какие-то моменты своей эволюции может подпадать под некий всеобщий закон, оно может сформировать его, дать ему жизнь, нет, частное должно быть оправданием всеобщего, оправданием причинно-следственного строения мира.

+++++

Для тех из людей, что подобно Лютеру провозглашают себе и миру: "Здесь я стою и не могу иначе. За мной моя вера, мой Бог,"

- судьбой уготована участь Иова, и было бы так, будь они более последовательны, более честны по отношению к себе. Но это уже не в их власти, и последовательность - удел их веры, ибо их устами говорит она, и под "Я" у ж е подразумевается "Мы".

Как только это произносится, встает вопрос: "Почему, ради чего тем не менее я страдаю?" И обделенное человеческое указывает им дорогу: они проникают всюду, где перед фактом слишком преклоняются, высаживая ростки подозрения, опутывая все вокруг заговорами и партиями, их стерильный пафос под покровом просветительства проникает в книги, в язык, в культуру, их идеи становятся достоянием общественного сознания, т.к. оно наиболее открыто для усвоения общих мест, общих понятий, - там факт имеет определяющее значение.

Под их маниакальной идеей обобществления разлагается все, начиная от традиций и моральных норм и кончая эстетическими вкусами и стилем Культуры. Цельные, замкнутые этнические /?/ группы ассимилируются, им прививается чуждый язык, чуждые вкусы, отчего они становятся пошлой пародией на самих же себя, так же как и насильственно выведенная из законов жизни эстетика сама себя опошляет... Но здесь я вынужден прерваться, т.к. разговор у нас тем не менее о другом.

+++++

Из всех придуманных человеком убеждений, возведенных до уровня веры, самой негативной является вера в объективность, непреложность, абсолютность предмета веры. Под ее воздействием парализуется способность видеть и чувствовать там, где при свободном взгляде на вещи обязательно проявилось бы нечто другое, отличное от убеждений, но из-за слишком яркого света веры оно остается в тени. Возникает подозрение, что данный сорт веры есть нечто подобное инстинкту самосохранения Культуры, вроде биологического принципа выживаемости. Благодаря ему Культура закрепляется и постепенно из необходимых "климатических" условий для нормального развития человека превращается в диктатора сначала его вкуса, норм, его стиля и в конце концов поглощает всего Человека.

Беда объективистов в том, что они легко поддаются завораживающему воздействию причинно-следственного развития в и д и м ы х ими событий настолько, что их воображение выступает всего лишь

как продолжение э т и х ж е с а м ы х с о б ы т и й. Тезис: "Наличие бытие определяет сознание" в их устах смехотворно серьезен и является наиболее удачным именем для подобного сорта людей.

Если шутки ради поставить такого объективиста перед выбором: несожжение Александрийской библиотеки, но взамен этого уничтожение небольшого обособленного племени в Центральной Африке, то он откажется от выбора и предложит в качестве жертвы себя.

Он серьезно верит в необходимость жертвы для Истории, он не может смириться с мыслью, что сожжение библиотеки есть не роковая ошибка истории, но сама История. Сгорела она или нет, не имеет никакого значения ни для него, ни тем более для Истории.

+++++

Наилучшим доказательством ложности той или иной системы, выбранной нами в качестве основополагающей, может стать, на мой взгляд, ситуация, когда создаются определенные условия, в которых данная система имеет возможность самовыразиться до конца, полностью развернуть себя в пространстве своих аргументов. Тогда она неизбежно обнаруживает свою ложность, т.к. срабатывает подмеченный еще Кантом принцип, согласно которому Бытие не выводимо из понятия. Именно в результате подобного положения дел любая развернутая, доведенная до совершенства система аксиом исчерпывает себя в своей непротиворечивости; она самодостаточна и не предполагает альтернатив, если, конечно, сами аксиомы изначально не противоречат друг другу, т.е. любая непротиворечивая система аксиом /критериев, оценок и т.д./ в своем законченном виде противоречит Бытию, и если в качестве последнего положить Человека, то становится ясно, что всякая совершенная Культура вступает в противоречие с Человеком. Так произошло с Ритуальной Культурой, когда она в результате тотальной, направленной на Мир деятельности обнаружила свою несостоятельность, не выделяя Человека из Мировой Структуры. Ритуальная культура научила человека не просто творить и изображать мысль посредством действия, она научила закреплять ее в знаках, научила обращаться с мыслью. Возникла Культура Мифа, Культура Человека Говорящего.

Перевод действия, поступков в плоскость дискурса /Слова/ сделал мысль человека зрячей, и взгляд ее постепенно смещался на самое себя, результатом чего явилась "чистая мысль" Канта.

И лишь каких-нибудь сто лет назад человек понял, что на протяжении всей своей истории он был всего лишь "канатом", связующим Мир и Культуру. Человек оказался в такой ситуации, когда к нему, к его истории как нельзя лучше применимы слова: "Всем тем, кто еще хочет говорить о человеке, о его царстве и его освобождении, всем тем, кто еще ставит вопросы о том, что такое человек в своей сути, всем тем, кто хочет исходить из человека в своем поиске истины, и, наоборот, всем тем, кто сводит всякое познание к истинам человека, всем тем, кто не согласен на формализацию без антропологизации, на мифологизацию без демистификации, кто вообще не желает мыслить без мысли о том, что мыслит именно человек, — всем этим несуразным и нелепым формам рефлексии можно противопоставить лишь философический смех, то есть, иначе говоря, безмолвный смех."^{X/} К этому можно лишь добавить, что на протяжении всего пути развития отношений Человека и Культуры первый неминуемо являлся поводом для безмолвного смеха со стороны своей тени, так как по существу сам являлся тенью.

+++++

Идея Объективного Человека выводится с одной стороны из кризисной ситуации в современной европейской культуре, а с другой, из нового отношения, сложившегося /и еще продолжающего становиться/ в пространстве обновленной парадигмы. Нынешнее положение дел в области позитивностей культуры характеризуется смещением акцентов в сторону систем, ансамблей и процессов, возникающих между ними. Отдельный элемент уже не ставится в общий ряд бесконечной последовательности сходств и различий, но мыслится существующим в некой локальной системе с характерной структурой, определяющей род и вид ее взаимодействия с другими системами. Всякий элемент описывается теперь в терминах "сложности", функционирования системы; и классифицированные по такому признаку элементы уже не создают уходящих в дурную бесконечность последовательностей, но сами эти последовательности имеют разрывы "сверху" и "снизу", и, более того, располагаются на различных уровнях пространственной и временной длительности.

"Системный подход" — новейшее достижение науки пронизывает

X/ М. Фуко, Слова и Вещи, "Прогресс", 1977 г.

все отрасли современного знания от квантовой механики и психологии до Истории и антропологии. Но если в науке переход на язык "функциональности" предполагает разговор о взаимодействиях как новой форме существования элементов, совершенно при этом не заботясь о видимом наличии отдельного элемента /достаточно его предполагаемое существование/, то гумани-тарий - приверженец новой объективности - допускает безнадежную ошибку в стремлении отождествить отдельный элемент / не только предполагаемый, но и конкретно осязаемый/ с функциональными проявлениями системы, в которую этот элемент вписан. /Здесь достаточно привести в пример психологию в связи с идеей коллективно-бессознательного/. В такого рода гумани-тарий все еще живет детерминист, пользующийся коварной аналогией ~~уравнения~~ сходства и различия между отдельными элементами, их внутренними по отношению к системе связями и внешним функционированием всей системы.

Обнаружение у человека конечностей уже самим актом констатирования этого факта ставит человека над этим фактом. А открытие возможности функционирования его конечностей поднимает человека еще выше по вертикали уровней его становления. И ни на одном из них Человек не отождествляется со своим уровнем, но сам этот уровень указывает на существование высшего уровня.

Прекращение этого процесса зависит от самого Человека. Открытие коллективного бессознательного, наличия в сознании всех тех структур, разнообразие которых мы находим в созданных деятельностью сознания формах, и еще далее в формах его жизнедеятельности, вовсе не означает, что Сознание есть совокупность этих структур и, как следствие, оно есть выражение некоего коллективного сознания, но, наоборот, указывает как раз на то, что Сознание есть нечто отличное от уже известной своей структуры. После того, как структура определена, названа. Сознание уже не есть результат своей структуры, но становится качественно отличным от нее.

+++++

Итак, мы понимаем, что попытка выставить в качестве критериев деятельности человека этическое или эстетическое приведет нас к необходимости определения критериев оценки Культуры, и тогда придется решать задачу о курице и яйце. А с другой стороны, может показаться странным и в какой то мере безграмотным желание выделить Человека в чистом виде, в отрыве от культурно-

го контекста, и тем самым спровоцировать известный "философический смех". Но здесь следует обратить внимание на то, как мы ставим этот вопрос и что мы хотим от него получить. И по этому поводу я утверждаю, что во всем рациональном знании о Человеке, понимаемом настолько, что сама литература и все искусство подпадает под определение "рациональное", — так вот, во всем этом наработанном Культурой опыте есть одна метафизическая брешь когда Человек и Культура не имеют между собой ничего общего и тем не менее не перестают быть значимыми /я не имею в виду значимость в смысле обозначения одного через другое/. В вопросе веры, когда мысль, слово, действие не есть самостоятельные элементы чего-то, но, спровоцированные на жизнь, тем самым определяют ее, выступая началом, зенитом и закатом жизни, в актах проявления жизни обретают длительное в течение жизни единство и получают имя "деятельность". Именно здесь пролегает граница, отделяющая Человека от Культуры. Именно здесь взаимопроницающее со-бытие Человека и Культуры или не осуществляется вовсе, или по крайней мере бесконечно мало, и на образовавшейся границе вакуума укрепляется и вырастает — Миф о Человеке, не вера человека, но предчувствие веры.

До тех пор, пока способность создавать Миф остается главной, основной жизнеутверждающей способностью духа Человеческого, (пусть даже впоследствии миф переходит в некое культурное образование) до тех пор имеет смысл говорить о Человеке как о чем-то действительно самоценном, неважно, будет ли это Первобытный Человек, Человек Культуры, Сверхчеловек или еще что-нибудь в этом же роде (в конце концов о предмете можно судить и по длине отбрасываемой им тени).

Здесь необходимо оговорить еще один момент. Нужно понимать, что существует разница между тем, что называется верой (о чем я говорил выше) и тем, что есть интерпретация веры. Рационально понятая вера, т.е. когда вера навязывает свои законы моей жизни есть именно интерпретация веры, тогда, как собственно вера обретается человеком в течение жизни, и посему в самой жизни вера существует как предчувствие ее.

Интерпретировать можно факт, поступок, явление, можно проинтерпретировать жизнь, понимаемую как факт или явление, но подобные действия в отношении веры не дают результатов (в смысле желаемых). Интерпретируя веру, мы всегда интерпретируем жизнь.

И в том случае, если мы не отдаем себе в этом отчета, мы обманываемся. И за примерами тому не надо ходить на Восток, они гораздо ближе.

В истории культуры мне известны случаи честного отношения к вопросу веры: раннеиудейские пророки в Ницше строили свое отношение к вере как к чему-то внерациональному, что приходит, открывается в конце жизни, а сама жизнь, понимаемая через подобный взгляд на неё, предстает как философия, то есть любовь к мудрости, а не вседоказательное всезнайство. Эксплуатация веры, помещение ее на горизонте жизни, отчего сама жизнь становится для человека рабским подчинением предмету своей (якобы своей!) веры, тем самым уничтожает самого Человека, лишает его возможности поиска веры, лишает его способности, вкуса к Мифу, и человек становится приматом человека политики, эстетики, идеи, Человек перестает б ы т ь.

+++++

Возникновение на горизонте культуры очередного Человека предшествует довлѣнно парадоксальная ситуация.

Зарождение новой Культуры есть результат пересмотра принципов жизни человека, что ведет к пересмотру основ господствующей веры, по законам которой строились принципы жизни. Такая жизнь объявляется заблуждением, и от нее избавляются логически простой операцией: изменяют знак, под которым эта жизнь развивалась, пропуская тот факт, что жизнь стала несносной именно потому, что на нее переносились, ей диктовались законы, не свойственные ей, законы, определяющие веру, а не жизнь.

Для Человека мысль о том, что всякая Культура имеет смысл только тогда, когда она служит ему, когда она понимается как создание человеческое для человеческого же, является слишком кощунственной, ему нужны высшие, вселенские оправдания своей деятельности; он предпочитает быть не творцом, но проводником, он не хочет о б л а д а т ь богатством, но стремится размножить богатство в знаках, усматривая в этом свою независимость от него, тогда как именно этим актом отдает себя во власть обращению знаков, и сам становится выразителем, означающим богатство; он пребывает в иллюзиях Прометея, когда считает, что таким образом тиражированное богатство становится доступным большинству и за него теперь нет необходимости драть-

ся, доказывать, что именно ты, а никто иной имеет право владеть им, так как самого богатства уже нет, оно становится иллюзией, или на языке науки, становится функциональным.

Для Человека понятие "предчувствие веры" кажется слишком тонким, слишком метафизичным, слишком неопределенным /и, может быть, слишком многого требующим, добавили бы мы/, чтобы с ним выходить на дорогу жизни. Жизнь не должна быть экспериментом с неопределенным концом, жизнь должна быть заданной, и предчувствие веры необходимо называть. А вот за название, за знак имеет ^{СМЫСЛ} драться: Человек, Природа, Бог, Электрификация... Что еще?...

... Тогда как Нравственность или, иначе, полагание на себя, умение творить и использовать свои творения для своих целей, т.е. умение видеть в них всего лишь утилитарные приспособления для своего восхождения в Неизвестность и, следовательно, относиться к ним как к таковым, и есть эквивалент "предчувствия веры" в длительности человеческой жизни.

Человек Морали теперь нас вряд ли сможет удовлетворить, т.к. его результатом, его наилучшей формой, как показала История, является Добропорядочное Бюргерство; равно как и Человек Эстетический /"Человек-Распутник" по М.Фуко/, антипод Морали, несостоятелен в своем стремлении искусственно навязать жизни законы своего Бога-Эстетики, в своем нежелании признать законы Жизни, не говоря уже о том, чтобы знать их.

Нравственный Человек тот, кто говорит:

- Моя нравственность такова, что она позволяет мне относиться к Миру, Слову, Истории, Науке, Культуре не более, чем как к мифу, символу, знаку, как к поводу для выражения моего внутреннего, для освобождения от моего старого, прожитого, прочувствованного, промысленного; она дает мне возможность Полагать Мир.

Моя нравственность такова, что мне необходима дистанция между мной и Собеседником. Тогда я его лучше вижу, лучше слышу, я лучше понимаю принцип: кто это говорит, и, следовательно, что он говорит. И я понимаю, действительно ли его пафос направлен на представление мне своего "что", или же его целью является нарушение расстояния между нами и тем самым своими сомнительными доводами, своим запахом, своим шумом оглушить, одурманить меня, склонить к безосновательному суждению, поступ-

ку. Моя нравственность такова, что она определяет стиль моего поведения по отношению к общности людей с известной моралью, независимо от того, приемлема эта мораль для меня или нет. Но в любом случае она такова, что позволяет сохранить себя даже тогда, когда для господствующей морали она неприемлема.

Выполнение этих принципов определяет необходимость для существования меня в мире.

+++++

Человек в современной культуре поставлен в условия, когда он вынужден решать довольно спекулятивный вопрос: или он несмотря ни на что, есть все же что-то отличное от Культуры, нечто первичное по отношению к ней, или он должен стать знаком Культуры, условием для его самовоспроизводства. Проблема эта не нова, если приглядеться к истинным причинам революций мировоззрений. Они случались именно тогда, когда человек не хотел более говорить на языке своей культуры, т.к. чувствовал, видел, что в таких условиях уже сам Язык говорит посредством человека.

Человек тем и отличается от идеи о себе, что как бы он ни верил в "систему Птоломея", в истинность своих представлений, у него есть право поставить свои истины под вопрос. И самое интересное, что это его право небезосновательно.

Человек постепенно приходит к мысли, что в его концепции Мира, насколько непротиворечивой она ни была бы, — пусть даже он положит свою жизнь на веру в ее безальтернативность, — тем не менее в ней есть альтернатива, и именно ее наличие делает жизнь человека действительно Жизнью, а не обреченностью.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЖОН...

"Из двух начал явился Пушкин".

А мы?

Одна составляющая - вот она. Русская литература.

Но еще одна - так сказать, европейская - и имеющая то великое преимущество перед первой, что почти синхронная движению всего мира...

БИТЛЗ - окно, через которое открылся нам современный мир. Мы читали романы столетней давности, учили стихи - сорокалетней, но волосы, штаны, песни, возгласы приветствия, нарочитый "пацифик" и босые ноги - были из нашего же исторического времени /ничто для истории пятилетнее опоздание!/. Мы восполняли свою тоску по синхронности, а значит, и адекватности.

Реконструкцию поэтического языка и бытия, исторического времени тридцатых - "гулаговский психоз" - уравновесили молодые, сильные и честные голоса, воздух современности.

"Жизнь - это то, что происходит с тобой, пока ты занят составлением планов".

Когда редакция "Сумерек" попросила меня написать о влиянии Джона Леннона на наше поколение, первое, что пришло в голову, было, конечно, "Васисуалий Лоханкин и его роль...".

Подумал я так и даже испугался своей непочтительности и явному цинизму. А потом мне пришло в голову, что в том, что я так подумал, тоже есть наверное, влияние Джона. Его насмешливый дух достаточно прочно въелся в нас. "БИТЛЗ популярнее, чем Иисус Христос", - помните?

Главное - не делать из него святого. За это мы и любим его - за то, что он всегда оставался самим собой.

В чем смысл данного тривиала? "Самим собой"?

А вот, пример.

"Когда БИТЛЗ соединятся вновь?" - много лет спрашивали поклонники-битломаньяки, подразумевая под этим, по большей части, воссоединение Пола и Джона. И вот - произошло. Пол пришел к Джону с гитарой под мышкой, с предложением полабать вместе. "У меня был сумасшедший день, ребенок не кормлен, а тут еще Пол со своими проклятыми гитарами", - примерно так прокомментировал Джон сей факт.

Известно, что когда в 69-м он летел на концерт в Торонто вместе с Клэптоном, Харрисоном, и другими членами ПЛАСТИК ОНО БЭНД, то его тошнило от страха выйти на сцену после 4-х летнего перерыва. Тошнить-то может каждого, но каждый ли признается?

А его временный разрыв с Йоко в 74-м? "Я вышел из дома за газетами, а вернулся через полтора года".

Наверное, главная сила Леннона в его воздействии на нас - то, что он показывал, что все-таки можно жить честно, ошибаясь и признавая свои ошибки и делая другие.

И еще. Среди любителей рока в СССР всегда было принято давать разные русифицированные прозвища западным рокерам. ПРОКЛ ХАРУМ - "Прошка", ТЕН ЙЕРЗ АФТЕР - "Тени из Автово" и т.д.

Маккартни устойчиво звали Пашей.

Но никогда я не слышал, чтоб кому-нибудь пришло в голову назвать Леннона Ваней.

О, МАЛЬЧИК, СЕГОДНЯ Я ПРОЧИТАЛ НОВОСТЬ...

... он услышал чей-то голос: "Мистер Леннон", - и обернулся посмотреть, кто его зовет. Марк Чэпмэн шагнул вперед из темноты, встал на колени, прицелился, держа пистолет двумя руками, как его учили, и пять раз в упор выстрелил в человека, которому поклонялся.

Истекающий кровью Джон, спотыкаясь, ввалился в комнату привратника. "Меня застрелили", - прошептал он, падая. Через несколько минут прибыла полиция. Чэпмэн ждал ареста, читая "Над пропастью во ржи".

Над лежащим без сознания Джоном плакала Йоко. Умер он от потери крови на заднем сиденье полицейской машины по пути в госпиталь Рузвельта.

"Ты понимаешь, что ты сделал?" - спросил у Чэпмэна полицейский офицер.

"Да, Я застрелил Джона Леннона", - ответил тот.

"Если вы надолго впишитесь в этот бизнес, он вас прикончит", - говорил Джон про рок-н-ролл. Он всегда боялся истерии фанов и фриков. Но он ничего не смог бы сделать, чтобы защитить себя. Он устоял против соблазнов Битломании, наркотиков, алкоголя, разлуки, всеобщей ненависти, насмешек - и в конце концов остался прежним веселым остроумным Джоном, строящим планы на следующие сорок лет. Миллионы людей считали его своим другом. То, что он делал, было таким личным и искренним.

Чэпмэн отождествлял себя с Ленноном, как и сотни тысяч других. Два раза он пытался покончить жизнь самоубийством, но это не получалось. Поэтому он убил того, кому поклонялся, человека, которым хотел быть, человека, которым - как ему казалось - он был.

Как личность, Марк Чэпмэн не имеет отношения к истории жизни Джона Леннона. Он был просто несчастным сумасшедшим с пистолетом. Джона Леннона убили его слава и средневековые законы в обществе, которое он любил. Джон Леннон стал жертвой сумасшествия фана рок-н-ролла и оружейного лобби, позволяющего патетичес-

Фрагменты из книги Рэя Конноли "Джон Леннон 1940-1980. Биография". Полностью книга заявлена к публикации журналом "Иностранная литература".

ким психопатам становиться убийцами за 169 долларов.

Всеобщий траур, последовавший за его убийством, ему бы не понравился. Он не верил в культ мертвых героев. Он верил в жизнь. Восемью неделями раньше он сказал Дэвиду Шеффу из "Плэй-боя": "Я не понимаю преклонения перед мертвым Сидом Вишиосом, мертвым Джеймсом Дином или Джоном Уэйном". Он не верил, как он сказал всем, во вчерашний день.

Но во вчерашний день верили миллионы людей. Известие о его смерти мгновенно облетело потрясенный мир. В Нью-Йорке радиосообщения о его смерти был даже прерван священный футбольный телерепортаж. В Англии трансатлантические телефонные звонки Йоко разбудили тетушку Мими и Пола Маккартни. Синтия, гостившая у бывшей жены Ринго Морин Старки, узнала об этом лишь на следующее утро. Семнадцатилетний Джулиан немедленно вылетел в Нью-Йорк. Ринго, прилетевший с Багамских островов, был уже там. Перед зданием Дакоты начали собираться тысячи оцепеневших фанов. Цветов было так много, что не было возможности передать их Йоко, букеты вешали на железные ворота. Радиостанции всего мира играли песни Леннона. В Англии "STARTING OVER" вышла в хит-парадах на первое место.

Через два дня тело Джона было тайно кремировано в присутствии лишь самых близких. Йоко попросила фанов помолиться за него. В субботу, 14 декабря, по ее просьбе Джона почтили десятью минутами всеобщего молчания. По всему миру замолкли радиостанции. В Ливерпуле тысячи фанов, ничего не поняв, пели "SHE LOVES YOU". Это бы Джона развеселило. В Центральном Парке к двум часам дня собралось 100 тысяч человек. Во всеобщей тишине слышался лишь шум вертолетов с телерепортерами. Любимой песней в Нью-Йорке снова стала "GIVE PEACE A CHANCE". Позднее, когда боль от шока начала проходить, циники смеялись над слезами, пролитыми в тот день. Но циники ничего не поняли. Плачущие плакали над своей ушедшей молодостью.

Йоко вернулась к работе 19 января. К этому времени она получила почти 200 тысяч писем с выражениями соболезнования. В Америке "STARTING OVER" и "DOUBLE FANTASY" продолжали оставаться на первых местах хит-парадов, а в Англии, переизданные И Эм Ай "IMAGINE" и "HAPPY X-MAS / WARR IS OVER /" стали крупными хитами в дни рождественской распродажи. В одной только Англии в течение месяца было продано два миллиона пластинок.

К концу января сингл "WOMAN" вышел на первое место в хит-параде - это был третий хит Джона Леннона за последний месяц.

Все книжные магазины были завалены журналами со статьями о нем. Всеобщая истерия, превратившая Марка Чэпмена в убийцу, теперь превращала Джона Леннона в святого.

Он мог этого ожидать, но ему бы это не понравилось. Он не был святым.

Безусловно приветствуя напечатание восьмисоттысячным тиражом автобиографии В.В.Набокова "Другие берега" /"Дружба народов", № 5, 6, 1988 г./, мы хотим напомнить общеизвестное: текст литературного произведения есть целое, изъятие любой части которого искажает его /текста/ "художественное бытие"; тем более, что невинные "некоторые сокращения", о которых говорится в предисловии к публикации /см. "Дружба народов", № 5, 1988/, представляют из себя купюры, сделанные по цензурным соображениям.

Вывод о цензурной направленности и характере купюр читатели сделают сами.

Текст восстанавливается по изданию: Владимир Набоков. Другие берега. ARDIS/ANN ARBOR 1978 г.

"Дружба народов", № 6, 1988
стр.87

На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры /Крым/ к морю ранней весной 1918 года, какой-то + большевицкий + часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам.

стр.118

+ В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивленному читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть. Зимой 1917-го года демократия еще верила, что можно предотвратить большевистскую диктатуру. +

стр.119

+ Но не это было, конечно, существенно. Местное татарское правительство смели новенькие советы, из Севастополя прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и унижительное положение, в котором могут быть люди, - то положение, когда вокруг все время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. Тупая эта опасность плелась за нами до апреля 1918-го года. На ялтинском молу, где Дама с Собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих навтыжку мертвецов. +

стр.122

+ То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали о России, пришло на запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же

он оправдывает презренный и мерзостный террор, установленный Лениным, пытки и расстрелы, и всякую другую по-лоумную расправу, - ... +

стр.122

+ Ему никогда не приходило в голову, что если бы он и другие иностранные идеалисты были русскими в России, их бы ленинский режим истребил немедленно. +

+ Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и "не одобрял модернистов", причем под "модернистами" понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей, столь тонко судивших о Донне и Хопкинсе, столь хорошо понимавших разные прелестные подробности в только что появившейся главе об искусстве Леопольда Блума, наш убогий Ленин был чувствительнейшим проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе, и...+

стр.123

+ ... и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора. +

стр.125

+ В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невежеству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти. Гром "чисток" который ударил в "старых большевиков", героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни

Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть, и может быть осудить, восторженные и невежественные предубеждения его юности: оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде *quinquennium Neronis* /Нероновское Пятилетие/ +

стр.129

... в свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения + бездарных заданий +.

Э Т А Ж Е Р К А

/публикации/

И Т О Г И

... Некоторый итог о познавательной деятельности вообще. Она строит символы — символы нашего отношения к реальности. Предпосылка деятельности, все равно, будет ли это искусство изобразительное или искусство словесное, есть реальность. Мы должны ощущать подлинное существование того, с чем соприкасаемся, чтобы стала возможной культурная деятельность, вплотную признаваемая как необходимая и ценная; без этой предпосылки реализма наша деятельность представляется либо внешне-полезной в достижении некоторых ближайших корыстей, либо внешне-развлекательной, забавой, искусственным наполнением времени. Но не сознавая реальности, которую знаменует, т.е. вводит в наше сознание, то или иное деяние культуры, мы не можем признать его внутренне достойным, истинно человеческим. Иллюзионизмом как деятельностью, не считающейся с реальностью по существу своему, отрицается человеческое достоинство: отдельный человек замыкается здесь в субъективизме и тем самым перерезывает свою связь с человечеством, а потому и человечностью. Когда нет ощущения мировой реальности, тогда распадается и единство вселенского сознания, а затем — единство самосознающей личности. Точка — мгновенно, будучи ничем, притязает стать всем, а вместо закона свободы воцаряется каприз рока. Перспектива в изобразительности и схематизм в словесности — последствия этого отрыва от реальности; впрочем, это даже не последствия, а единое последствие — рассудочность — она же закон тождества отвлеченного мышления. Точка — мгновение здесь закрепляется как исключительное, отрицающее реальность всей полноты бытия, себя не утверждающее — абсолютизм. Но, отстранив от себя всякую реальность, эта "абсолютная" естественно остается лишь формальным притязанием, равно относимым к любой точке-мгновению, к любому "Я". "Точка зрения" в перспективе и есть попытка индивидуального сознания оторваться от реальности, даже от собственной своей реальности — от тела, от второго глаза, даже от первого, правого ~~глаза~~: глаза, поскольку он не есть математическая точка, математическое мгновение. Весь смысл этой, перспективной, точки зрения — в исключительности, в единственности: точки зрения в перспективе есть полная бессмыслица, и

коль некая точка пространства и времени провозглашается точкой зрения, то тем самым отрицается за другими точками пространства подобная значимость.

Нужно раз и навсегда утвердить в мысли истинный смысл перспективы: эта последняя не есть что-либо положительное, но определяется лишь отрицательно, как "не то", что все прочие точки, и потому содержанием самой перспективы необходимо признать отрицание какой бы то ни было реальности, кроме реальности данной точки.

Ирреализм и перспективизм не случайно исторически оказались попутчиками, а суть одна и та же установка культуры, первый — по внутреннему смыслу, а второй — по способу выражения; общее же имя тому и другому — иллюзионизм.

Иллюзионизму противопоставляется реализм. Реальность не дается уединенному "здесь" и "теперь" точечному сознанию. Закон тождества, применяется ли он в зрении (перспектива) или в слухе (отвлеченность), уничтожает бытийственные связи и ввергает в самозамкнутость. Реальность дается лишь жизни, жизненному отношению к бытию, а жизнь есть непрестанное умирание единства, чтобы прозябнуть в соборности. Живя, мы соборujemy сами с собой — и в пространстве и во времени, как целостный механизм, собираемся воедино из отдельных взаимоисключающих — по закону тождества — элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр. и пр. Подобно мы соборujemy в семью, род, в народ, и т.д., собираясь до человечества и включая в единство человечности весь мир. Но каждый акт соборования есть вместе с тем и собирание точек зрения и центров схемостроения. То, что называется обратной перспективой, вполне соответствует диалектике. Одно — в области зрения, другое в области слуха, но по существу и то и другое есть синтез, осуществляемый движением, жизнью. Отвлеченной неподвижности иллюзионизма противопоставляется жизненное отношение к реальности. Так создаваемые символы реальности непрестанно искрятся многообразием жизненных отношений: они по существу соборны. Такие символы, происходя от меня, — не мои, а человечества, объективно — сущие. И если в иллюзионизме объективный двигатель в возможности сказать "мое", хотя бы на самом деле оно бы было весьма компиляторским, т.е. награбленным, то при реалистическом мироощущении побуждает создать именно возможность сказать о созданном "не мое", "объективно-сущее". Изоб-

рести — стремление иллюзионизма, обрести — реализма, обрести, как вечное в бытии.

Но изобретение, поскольку оно в самом деле таковое, предполагает замкнутость и субъективность: напротив, обретение требует усилия, направленного на бытие. Реалистическое отношение к миру по самому существу дела есть отношение трудовое: это жизнь в мире. Иллюзионистическое понимание пассивно, да оно и не может быть активным, коль скоро при нем не ощущается реальности, тогда как реалистическое твердо знает, что реальность должна быть активно усваиваема трудом.

Именно по тому, что нас окружают не призрачные мечты, которые перестраивались бы по нашей прихоти, бестельные и бескровные, а реальность имеющая свою жизнь и свое отношение к прочим реальностям, именно потому она вязка и требует с нашей стороны усилия, чтобы были завязаны с нею новые связи, чтобы были в ней прорыты новые потоки. Это — символы. Они суть органы нашего общения с реальностью. Ими и посредством их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до сих пор от нашего сознания. Изображением мы видим реальность, а именем — слышим ее; символы — это отверстия, пробитые в нашей субъективности. Так что же удивительного, если они, явления на реальности, не подчиняются законам субъективности? И не было бы удивительным противоположное? Символы не укладываются на плоскости рассудка, структура их насквозь антиномична. Но эта антиномичность не есть возражение против них, а напротив — залог их истинности. Иллюзионистическое, внежизненное, пассивное мировоззрение искало во что бы то ни стало отвлеченного единства, и это единство выражало самую суть возрожденческого нигилизма. Не следует ли отсюда, что миродействие реалистическое, на жизнь направленное и трудовое, должно отправляться от существенного признания соборной множественности в самих орудиях нашего отношения к бытию.

Возрожденческое мирочувствование, помещая человека в ОНТОЛОГИЧЕСКУЮ ПУСТОТУ ТЕМ САМЫМ обрекает на пассивность, и в этой пассивности образ мира, равно, как и сам человек, распадается и рассыпается на взаимоисключающие точки — мгновения. Таково его действие только по сути. Но было бы ошибкой считать это разложение целого только теоретической угрозой, — пределом, никогда не достигаемым исторически. Опасность, когда-то казавшаяся неопределенно далекой, уже вплотную подступила к культуре;

и не в силу отвлеченных соображений приходится пересматривать курс недавней культуры, а под натиском самой жизни; мы, как члены человеческого рода, как личности, уже не в состоянии жить среди продуктов самоотравления возрожденческой культуры. Мы фактически уже восстаем на нее, не кто-либо один, а многие, большинство. Когда физик или биолог, или химик, даже психолог, философ и богослов читают с кафедры одно, пишут в научных докладах другое, а дома, в своей семье, с друзьями, чувствуют, вступая в противоречие с существенными предпосылками своей собственной мысли, то не значит ли это, что личность каждого из них разделилась на несколько исключаящих друг друга частей? А беря более глубоко, мы легко усмотрим ту же внутреннюю несвязность и в пределах лекций, и в пределах диссертаций, и жизнечувствия. Личность рассыпается, утверждая отвлеченное единство своей деятельности.

Но это не соборность, не синтез, не творческое объединение, а СМЕРТЬ. И опять — не от злой воли того или другого деятеля культуры, а необходимое последствие самого хода ее.

Уже давно-давно, вероятно, с XVI века мы перестали охватывать целое культуры как свою собственную жизнь; уже давно личность, за исключением очень немногих, не может подняться к высотам культуры, не терпя при этом величайшего ущерба. Да, уже давно попытка обогатиться покупается жертвою цельной личности. Жизнь разошлась в разных направлениях, а идти по ним не дано: необходимо выбирать. А далее, каждое направление жизни расщепилось на специальности отдельных культурных деятельностей, вслед за чем произошло раздробление и их на отдельные дисциплины и узкие отрасли. Но и эти последние, естественно, должны были подвергнуться дальнейшему делению. Отдельные вопросы науки, отдельные понятия в области теоретической вполне соответствуют той же крайней специализации в искусстве, в технике, в общественной жизни. И если нередко слышится негодование на механизацию фабричного труда, где каждому работнику достается ничтожная часть какого-либо механизма, конструкции, может быть назначения которого он не понимает и которым во всяком случае, не пользуется, то сравнительно с этой специализацией рук, насколько более вредной и разрушительной духовно должна быть оцениваема специализация ума и вообще душевной деятельности?

Содержание науки чужой специальности давно уже стало недос-

тупным не только просто культурному человеку, но и специалисту — соседу. Однако и специалисту той же науки отдельная ее дисциплина недоступна. Если специалист-математик, беря в руки вновь полученную книжку специального журнала, не находит, что прочесть в ней, потому что с первого же слова ничего не понимает ни в одной статье, то не есть ли это сдвиг самого курса нашей цивилизации? Культура есть среда, растущая и питающая личность, но если личность в этой среде голодает и задыхается, то не свидетельствует ли такое положение вещей о каком-то коренном "не так" культурной жизни? Культура есть язык, объединяющий человечество: но разве не находимся мы в Вавилонском смешении языков, когда никто никого не понимает и каждая речь служит только, чтобы окончательно удостовериться и закрепить взаимное отчуждение? Мало того, это отчуждение закрадывается в само единство отдельной личности: себя самую личность не понимает, с самой собою утратила возможность общения, раздираясь между взаимоисключающими и самоутверждающимися в своей исключительности "точками зрения". Отвлеченные схемы, они же перспективные единства, перспективы, если допустить такой неологизм, вытеснили из жизни личность, и ей приходится незаконно ютиться где-то на задворках, работая на цивилизацию, ее губящую и ее же порабащую...

Но человек не может быть порабащен окончательно. Настанет день и он свергнет это возрожденческой цивилизации, даже со всеми выгодами, ею доставленными. Близок час глубочайшего переворота в самих основах культурного строительства. Подземные толчки землетрясения слышались уже не раз на протяжении последнего столетия: Гете, Рескин, Толстой, Ницше, сейчас Шпенглер, да и многие другие уже предостерегали о катастрофических силах, и не изданием "полного собрания сочинений" и продажей открыток-портретов обезвредить грозный смысл их обличений и предвещаний. Здание культуры духовно опустело. Можно продолжать строить его, и оно еще будет строиться. История претерпевает величайшие сдвиги не под ударами многопудовых зарядов, а от иронической улыбки. И не по бенгальским огням и фортисимо узнается конец исторического зова, а по обращенности глаз более зорких в противоположную от наличной культуры сторону горизонта. Споры, борьба, гонения указывают на какую-то историческую нужность оспариваемого. Но наступает час, когда не спорят, тогда, может быть даже оценивают тонкость разработки выдохшейся цивилизации. Но сказано короткое

слово "не надо", и им все решается. Дальнейшее же есть естественное разрушение оставленного дома. Схоластика пала не тогда, когда восстали против нее и спорили с нею, напротив, это борьба была залогом ее жизненности. Но в известный момент, без спора, без упреков, без гнева, Декарт попросту махнул на нее рукой и пошел своим путем. Это—то небрежное мановение и было роковым: схоластика кончилась, и началось новое философское мировоззрение. Так вот, я здесь хочу сказать, что мы—то еще спорим против возрожденчества, мы—то еще критикуем его предпосылки и сложившуюся из них культуру. И, ВЕРОЯТНО, ЭТО — ПОСЛЕДНИЕ СПОРЫ, а потом те, кто будет за нами, скажут роковое "НЕ НАДО", и вся сложная система обездушевной цивилизации пойдет разваливаться, как развалилась схоластика империи. Это не значит, что разваливающееся в своем роде было несовершенно и не решало той ~~задачи~~ или иной поставленной ему задачи. Трудно себе представить, чтобы большое историческое явление, складывающееся веками, не было по—своему целесообразным, когда культура есть существенно деятельность по целям. Но самая задача, решению которой служит данное явление, может оказаться как ненужная или, во всяком случае, не окупающая усилий, которые тратятся на ее решение. И тогда человечество отказывается от поставленной задачи и средств к ее разрешению. Так домохозяйка бросает истлевший дом, ремонт которого поглощает все доходы и который своим обитателям предоставляет взамен много, но неудобных и почти нежилых комнат. Семья предпочитает выселиться в небольшой, но приспособленный к жизни домик, а большой дом разрушается ускоренным ходом, пока его не повалит какое—нибудь стихийное бедствие. Цивилизация нашего нового времени есть именно такой дом, поглощающий все силы и заставляющий жить для себя, вместо того, чтобы облегчить жизнь. Человек надсаживается над работой для культуры, не получая взамен ничего, кроме горького сознания своего одиночества, обеднения и раздробления. И, наконец, он примет решение, и, собрав пожитки, переселится на сторону, чтобы зажить с меньшими притязаниями на блеск, но сообразно настоящим потребностям семьи. Может быть, и нужный когда—то, когда наука льстила себя надежной быть метафизикой мира, — известный уклад мысли потерял свой смысл, коль скоро пришлось сознаться, что он ограничивается лишь построением схем. Между тем, этот уклад мысли, всегда соответствующий

щий внутренним потребностям человека, все более проявлял свою неуютность по мере своего роста; и все несоизмеримее делалось научное миропонимание с человеческим духом, не только качественно, но и количественно, по неохватимости их индивидуальными силами.

Наука хотела заменить собою то, в чем ищет себя удовлетворить личность, а в итоге стараний была сооружена огромная машина, к которой не знаешь как подступиться. Тут не может быть и речи об удовлетворении: это как если бы построили дом в десятки кв.верст, верстами меряющий высоту комнат и соответственно обставленный. Едва ли была нам польза от стаканов в сотни ведер емкостью, ручек с корабельную мачту, стульев выст^ою с колокольню, и дверей, которые мы сумели бы открывать только при помощи колоссальных инженерных сооружений в течение, может быть, годов. Так и научное мировоззрение и качественно и количественно утратило тот основной масштаб, которым определяются все прочие масштабы: самого человека. Конечно, в нетрудовом миропонимании можно отвлекаться от чего угодно и воображать себе все что угодно, приписывая к любой характеристике любое число нулей. Но ведь эта возможность опирается на жизненную безответственность такого мыслителя, он заранее уверен, что его построения не придется проверять жизнью, и потому фантастичность их не будет изобличена подлинными потребностями живого человека. Такому мыслителю нет дела до мира; выхватив облюбованный кусочек жизни, он ведет свою линию куда-то в сторону от жизни, и, естественно, не получает отклика в той пустыне субъективности, куда он устремился. Он сам по себе. Но, став только таким, мысленно уйдя от человечества, он становится и вне себя самого: ибо человек не может уйти от человеческой природы, а, следовательно, от связи с человечеством. Но эта бесчеловечная субъективность, по какому-то странному недоразумению объявляющая себя объективностью (себя)!, вносит в мыслителя раздвоенность сознания и, мыслитель, он думает и говорит как человек. С кафедры он отрицает тот масштаб, которым одним только он измеряет жизнь на самом деле и который дает ему жизненные силы также и для деятельности на кафедре.

Современный человек ведет двойную бухгалтерию. Она имела еще некоторый смысл, пока подразумевалось позднее средневековье с его учением о двойной истине, и людям верилось в науку как в

истину. Но именно последнее разрушено до основания кантианством, позитивизмом, феноменализмом, прагматизмом и прочими сабоценками научной мысли. Она не есть истина и не притязает быть таковой, она хочет быть удобством и пользой. Если бы истина, хотя бы самая суровая, уничтожающая меня и мои масштабы — то я, человек, вынужден смиряться и смиряюсь. Но мне возвещают, что бы на истину я не смел и надеяться. Так нельзя и удобство?...

— ну, тогда уж позвольте мне, человеку, судить самому, что мне полезно и что мне удобно. И, пожалуйста, не благодетельствуйте меня удобствами насильно. Может быть сказочный дом для великанов и был бы удобен им самим, это их дело. Но в действительности жизни мне и моим близким, — а близкие мне по человечеству все люди, — это жилище совсем не подходит, и кому же знать о том, что удобно мне или неудобно, как не мне самому. Наука, изгнанная своими сторонниками с трона истинности и все продолжающая придворный этикет истинности, либо смешна, либо вредна. Я же, человек, со своей стороны решительно не вижу оснований мучать себя житейскими церемониями, которые и объявляются — то условными по существу и познавательного ничего не дающими: даже изучать их у меня нет ни времени, ни сил, тем более, что жизнь, ведь не ждет и требует к себе внимания и усилия. А жизнь прожить — ведь не поле перейти. И вот в итоге я, человек, скажем 40-х годов XX века, не беру на себя обузы входить в ваши нетрудовые контрверзы, делать какие-то выборы и усовершенствования, может быть, ваши построения по своему и великолепы, как был великолепен в свое время этикет при дворе Короля-Солнца. Но что мне до того и до ваших тонкостей, и до версальских. Мое дело маленькое, моя человеческая жизнь и мой человеческий масштаб, и я без раздражения и гнева, силою вещей, силою запросов жизни, осознав жизненную ответственность, просто отхожу от жизни — от жизни-забавы, и живу по-своему. Кое-что, разумеется, останется в моем хозяйстве, может быть, даже будет усвоено им; но большая часть этой цивилизации, коль скоро разрушена система, сама собой в небольшое число поколений забудется или останется в виде пережитков, может быть ритуального характера — как какой-нибудь брудершафт, пережиток причащения кровью друг друга. Но основное русло жизни пойдет мимо того, что считалось еще так недавно заветным сокровищем цивилизации. Была же когда-то сложная и пышно разработанная система магического миропонимания, и тонкостью отделки своей

не уступила бы ни схоластике, ни теизму, и была действительно великолепная система китайских церемоний, как не менее великолепный талмудизм, Люди учились и мучались целую жизнь, сдавали экзамены, получали ученую степень, прославлялись и кичились..., а потом обломки древневавилонской магии ютятся в грубой избе у полуненормальной знахарки и т.д. Даже большие зна-токи древности лишь смутно-смутно нащупывают некоторые отдельные линии этих великолепных построений, но уже не сознавая их внутреннего смысла и ценности.

"Но ныне светом и молвой они забыты..."

Таково же и будущее возрожденческой науки, но более суровое, более беспощадное, поскольку и она сама была беспощадна к человеку.

Борис Вахтин

ВАНЬКА КАИН

"Три повести с тремя эпилогами
/а, может быть, одна поэма/", по-
весть вторая.

Первая часть трилогии: "Летчик
Тютчев, испытатель" - "Сумерки" № I.

I.

Крыша нараспашку

У серого дома в Упраздненном переулке четыре стены и крыша нараспашку. Я задираю голову, как у парикмахера для бритья, и смотрю. Над домом клубится пар и сгущается великанами: прежде всего Ванькой Каином, затем стюардессой Марией, старым скульптором Шемиловым, смелым евреем Борькой Псевдонимом, Стеллой, профессорской дочкой.

Это все великаны.

Это наш дом в Упраздненном переулке.

Я стою с задранной головой и я очень маленького роста, а тут сплошь великаны.

Ты, Каин, переменчивый как морская волна, и даже хуже.

Ты, Стелла, когда-нибудь мать, а сейчас красота до испуга, до неприкасаемости.

Ты, Мария, грубая, простая, не знающая бога, и даром этим обреченная.

Профессор, выбитый как факт, с историей России в голове и сердце, и оттого с поступками татарскими, польскими и костромскими.

Псевдоним, а также Костя, Колендра — рядовые беспорядка и бунта в крови.

И я, чужой здесь и неприкаянный, как турок, хожу вокруг вас — великанов из серого дома.

Льетса влага с балконов по вечерам, когда поливают цветы, и из-под откинутой крыши пахнет псиной и козлом, и дворник Галя принимает гостей в своей комнатухе, а коммунальная квартира звонит в милицию, требуя порядка и нравственности, и сокрушая мечты о фаланстере, и тихое небо пустынно, боже до чего пустынно, хоть и полно кометами, ракетами, полно ожиданием звезд.

И я хожу вокруг дома, неторопливо, вдумчиво хожу, потому что, что же спешить, когда вечер и дело твое такое вот простое, где-то у ног, у подножья.

Я слышу и вижу, и мне становится тяжело на сердце, что это очень мрачная картина с Ванькой Каином посередине. Разве человек — не веселие божие? Разве я, жизнерадостный, не знаю, что

у каждого есть порыв и стремление к лучшему, так что в результате сплошь и рядом, сколько угодно, загорается зеленый свет и дает дорогу? Знаю, еще как знаю, но дело в том, что я тут ни при чем, а при чем он, Ванька Каин, главный в тени нашей жизни, и все это его рук дело, понимаете, где собака зарыта, а отнюдь не моих.

2.

Место для Каина

В городе — ни в каком — нет отечества, не обнаруживается. Оно начинается где-то за вокзалом — и то не сразу, а понемногу, с недоверием подпуская к своим бугоркам и речкам.

Вместо него в городе у людей общество и вроде одинаковое отечество.

Дома квартировичи.

Тут забота не о родной земле, а о родном асфальте.

В городе родился — отгородился.

В городе-коконе, в городе-наркотике, кокаине, окаянном — Тут и место для Каина.

3.

Когда они были юными

Мария... Когда она была юной, решимость ее не знала преграды и золотилась теплой кожей и темным разлетом бровей. Она родилась на севере, и стучали ее каблучки по деревянным тротуарам, и принесли ее каблучки в этот город, но где бы она ни шла, слышался стук каблучков по дереву Севера.

И когда был юным тот, кого не звали еще Каином, а величали князем в Упраздненном переулке, и боялись, и, однако, любили, когда тот отдыхая с ней рядом, говорил о заветном, она слушала душой и телом.

О чем говорил он, когда еще говорил? Я не смогу рассказать ясно, нет у него пока ясности. Но кое-что я постараюсь, кое-какие мысли.

Ведь мысли запомнить нетрудно, как имена или адреса. Но очень трудно запомнить чувство — разве помнит цветок о бутоне или плод о цветке? Или человек о детстве? Если бы помнили, то

и не надо больше ничего. А тут только мысли, и потому своими словами...

... Можно стать, понимаешь, маршалом, и затянуться в мундир со всеми пуговицами и звездами, но затянуться на всю жизнь? Нет, Мария, я прорасту ветвями из-под пуговиц, — он мне жмет, как этот переулочек между каналом и Пряжкой, Мне и небо мундиром со звездами, а не то что маршал...

... Разве это люди, посмотри, Мария! Это страх что такое, это страх. Это трень-трава на ветру, тянется, гнется и дохнет. А я хочу, чтобы все было, как подсолнух с синими листьями, и солнце жар-птицей, подсолнухом с желтыми, белыми листьями, и люди огромные, башнями, а то и играть не с кем и не во что.

... Такая будет моя игра, чтобы током сквозь всех и сквозь все, и не было сонных, а главное, это главное — быстро, и только так, а то все не так. А почему у них не так? Потому что играют по-мелкому, считают и рассчитывают, и отпиивают молочко по глоточку, оглядываясь, и жуют, глядя в тарелку и не имея достойного замысла и сил.

А всех надо бить током, а если не выдержит, почернеет и сдохнет, то пусть, я им не нянька. Пусть гром, чтобы сразу, пока не заросло все трень-травой до непоправимости, а распустилось сразу подсолнухом с синими листьями, а сверху солнце. И это моя дорога, но никому ни слова в жизни, чтобы не подслушали, да и тебя больше нет, потому что ты со мной, да и не со мной — слишком много молчишь, Мария.

— С тобой, — сказала Мария.

— Ты поняла?

Стук каблучков по дереву — стук сердца в горле.

— С тобой, — сказала Мария.

4.

Родословная моего героя

Вы думаете, этого Каина мать родила? Нет, не мать. Она сына родила, а не Каина.

Родила его толстая баба, сатанина угодница, от того немца Фидлера, что клялся отравить ядом Ивана Болотникова с помо-

щью бога и святого евангелия; у того ракитова куста, что в пустом поле за лесным углом; вспоила его кровью царевича Дмитрия да полынным настоем, вскормила хлебом, политым слезами, перенала в невские туманы, баюкала звоном кандалным и стоном земли. А отцами были у Каина худые арестанты и толстые баре, кродивые с Мезени и Мазепы с Украины, матросы в кожаных куртках и юнкера безусые, кулаки с обрезками и поэты с красными образами, попы с образами и палачи с высшим образованием. Обрывал ему страх пуповину и шептал ему, неразумному, первое слово, змеиное, тихое, чтобы зажечь перед ним все ту же звезду, а полной силы не дать. Вся земля наша, вся Россия страдала им, пока выносила, так причем здесь мать! Она сына родила, а не Каина, и тут не до смеха, не до иронии.

А где же твой Авеель, земля моя теплая, глупая? А вон он летит по небу — далекий, неслышный, и смотрит большими от природы глазами на всех нас.

5.

Молчаливый пилот

Молчаливый пилот, похожий на семафор, жил в Упраздненном переулке один, имея друга — летчика Тютчева, испытателя — в другом краю города, и, перегруженный работой и дружбой, не замечал ни Каина, ни Марии, ни Щемилова. Его талантом было молчать, даже когда все вокруг усиленно говорили, и смотреть на людей, на землю и на небо, а что он видел и к чему готовился — неизвестно. Улыбался он редко и вдруг и всем лицом, и тогда видно было, что он молчит по собственному разумению, а не от бедности души, зная, что в начале было не слово и не дело, а было в начале молчание.

Мария выходила из машины у аэродрома, и Молчаливый пилот увидал ее в этот волнующий момент — сначала колени, потом лицо, а потом и все остальное. Она пошла, обернулась — он улыбнулся ей всей душой, а она посмотрела на его улыбку и пошла себе дальше.

Все чаще встречался он ей, и даже дома, в переулке, но уже не улыбался, а только внимательно глядел.

— Что это за пугало? — спросил Каин.

- Не знаю его, - сказала Мария.

- Пусть гремит костями подальше от тебя, - сказал Каин.

- Пусть, - сказала Мария.

6.

Стелла

В профессорской квартире на третьем этаже выросло чудо - приемная дочь Стелла.

Чудо холили и баловали на даче, построенной под Одессой у моря, где теплые волны порождают обвалы, отпихивая берег, и красные бусы черешен висят над головой в зеленой листве. Там расцвел этот личный цветок на личной даче у профессора.

- Спи, Стеллочка, - шептала профессорова бабушка. - Придет ясный день, и из темного леса навстречу заре в восхождении явится герой наш, светильник мира - Иван-царевич. Спи, Стеллочка, спи.

Ночью за стеной какая-то женщина смеялась филином, и бабушка тревожно смотрела на крепко закрытые Стеллины глаза.

... Был вечер отдыха в матросском клубе нашего города, а перед ним университет культуры с лекциями о египетском искусстве и о развитии химии. Подруга привела Стеллу на этот отдых, и когда через мороз, колоннаду и толпу они прошли к гардеробу и потом отошли, то оставили, как и прочие, зиму на вешалке и заблестали прическами, плечами и тонкими талиями.

Подруга была на два года старше Стеллы и, обогащенная опытом этих лет, знала стратегию и тактику отдыха, а Стелла шла по ее пути на полшага сзади, как жена за японцем.

Что такое вечер в матросском клубе в нашу эпоху помимо египетского искусства и химии? Это прежде всего парад и настойчивость в достижении ясных целей.

Прошли прочь, жмурясь от блеска, хмурые лекторы, похожие друг на друга, как близнецы, и парад начался.

- Мальчики не для нас, - учила подруга, имея ввиду неуверенность сверстников. - Их предел - туризм в лодке летом, папин отпуск и пустая квартира. Это скучно, Стелла, и они понятия не имеют о жизни и о наших потребностях.

Опытным взором Каин увидел Стеллу и заключенные в ней перспективы.

Далеко от клуба, в ледяном небе над Иркутском стюардесса Мария говорила ровным голосом, чтобы привязаться ремнями, и глаза ее видели всех, ни в кого не вникая, и в сердце ее была тревога, уже привычная, как абажур, потому что годы шли, а током било не всех, а, главным образом, ее.

Шея Стеллы начинается у края плеч и взлетает со славой, увенчанная светлой головой с черными волосами. Ногу ставит Стелла легко и гордо, потому что несет нога беззастенчивые шестнадцать лет, разделенные на две равные и друг друга достойные половины тела. И сквозь сажесть кожи и гибкость всего существа уже проступает большая красота, если попадет это существо в руки мастера, а не дилетанта.

- Стелла, смотри, - сказала подруга тихо.

- Вижу, - сказала Стелла. И бровью не повела.

- Боря, - сказал Каин, - тебе рыжая.

- Он спросил про тебя, - сказала подруга.

- Они вместе? - спросила Стелла.

- Они вдвоем, - сказала подруга.

- Они вместе, - сказала Стелла.

- Ты думаешь? - спросила подруга.

Стелла не ответила. Учеба у подруги кончилась, и подруга отлетала в прошлое.

Бабушка раскладывала пасьянс на пасьянсом и что-то шептала над картами всю ночь напролет в ожидании Стеллочки.

А наутро пришел репетитор по языку, и бабушка ему отказала.

7.

Мария

- Как описать вам Марию, - говорил дядя Саша, когда мы сидели в пивной на бывшей Морской, а теперь Гоголя, и он отдыхал от очередных пятнадцати суток, он, любитель возвышенных слов и бездельник у Каина на подхвате.

- Если я не чувствую за собой умения говорить о ней безразлично, а только с восторгом, как барабанщик впереди полка? Как описать вам глаза, которые видели все на свете и все поняли, но не погасли, а разгорелись? И руки, привыкшие стирать, однако с шелковой кожей от запястий и далее, и ногу,

брошенную на ногу круглым коленом наружу, и взгляд, в котором вся ваша соразмерность, хоть втягивай голову в плечи, хоть грудь колесом? Как описать зрелость природы в простой кофточке и прямой юбке, великолепии бывалое и опытное, но не вялое, а только утомленное для пустяков и баловства? Не сумеешь, сколько не размахивай руками и не пришептывай, Но жизнь ваша прошла даром, как и моя, если не носили вы на опустевших руках ее трепет по многу дней подряд, мечтая о доме из крепких бревен, без окон и дверей, вдвоем, иначе все пресно кругом, как дырка в бублике. Вот у нас с вами даром, а у него, у Каина, нет, все имеет он с избытком, избытком для нас, но не для него, ему все мало, и в этом загадка для моего ума и темная пропасть, и я вглядываюсь безнадежно, не постигая дна этого замысла.

Рот у Каина капризный, как тугой лук, и слово летит редко и точно, как стрела, а может быть, как плевок. Черта у него такая, чтобы не отвечать, а усмехаться.

- Хочешь так? - спрашивает покорно Мария.

- Или так?

- Или так?

- Чего ты усмехаешься? - спрашивает Мария, сатанея. Но молчит Каин, и взгляд его мимо, и усмешка мимо - задевает краем рта и пролетает мимо.

Цару часов потом стюардесса Мария говорит пассажирам не курить и привязаться ремнями и, глядя на ее лицо, ничего не заметно и даже в голову не придет.

И все-таки Стелла - это только Каинов юг, блеск и величие, а Мария - Каиново нутро, голое естество, дрожащее как тот мальчик, что прицепился к хвосту ТУ-104 и летел из Москвы в Тбилиси, скорчившись и пропадая от страха. Потому что говорил когда-то Каин, и все запомнила Мария.

- А это уж свойство такое у Каина, - говорил нам дядя Саша, - что вызывает он к себе смертную любовь и в Марии, и в Стелле, и в других, случайных. Это ффрукт особый, и раскусить его не нам с вами, а только женщинам.

- Думаю я, - говорил он подумав, - что из такого теста делали соль земли, разных там Магелланов и викингов, ушкунников и ффибустьеров.

8.

Ночь

Разговор у Каина с Марией шел в промежутках, а было их пять.

- Это рука, - сказала Мария.

- И Это рука, - сказал Каин.

- А это плечо.

И это.

И вот, и вот, и вот.

Крупная муха металась по комнате, билась в луну в окне.

- Открой окно, - сказал Каин.

- Нет, - сказала Мария.

- Нет?

- Нет.

- А все-таки?

- Нет.

И потом сказала Мария.

- У меня будет ребёнок.

- А мне что? - сказал Каин.

- Твой, - сказала Мария.

- Твой, - сказал Каин.

- Я хочу.

- А мне-то что?

- Тебе-то всегда ничего.

- Конечно, - сказал Каин.

- Сын или дочь - тебе ничего.

- Хоть оба сразу.

- Небудет тебе ничего!

- Ничего?

- Ничего.

- Нет?

- Да.

Муха не знала, куда ей деваться, и утихла в темном углу, когда стало светать.

- Ишь, ты, - сказала Мария просыпаясь.

- Заткнись! - сказал Каин.

- Ну, нет, - сказала Мария.

- Помолчи, - сказал Каин.

И было совсем светло, когда Каин сказал:

- Не то.

9.

Черное с белым в полоску

Высокой чести удостоил меня только раз Ванька Каин, когда обратился ко мне и сказал, повстречав на углу переулка:

- А что ты за человек, парень?

- Не знаю, - сказал я. - А что?

- Болтаешься среди нас, а кто ты есть? - снова спросил Каин, - Все мы вроде при деле, а ты при чем?

Я смутился и подумал рассказать ему про звезду и про пламя, в котором мы все отдохнем, потому что это самое главное, но не знал, как начать.

- Я тут живу, - сказал я, - В этом городе.

- Он похож на тебя, - сказала ему Стелла. - Смотри - он похож на тебя.

- Хе, - сказал Каин и повернул меня к свету, чтобы всмотреться, - Гляди, и впрямь похож, сволочь.

- Он не виноват, может быть, - сказал Календра. И рукавом почистил сапог, потому что любил свои сапоги, в которые заправлял штанины. А Борька Псевдоним добавил:

- Он сам по себе, пусть его, Каин.

- Пойдем, парень, разберемся, - сказал мне Каин и отвел меня в сторону, в сквер на скамейку.

- Вот ты трешься среди нас, а что можешь сказать про меня? - спросил он.

- Что ты в России, может быть, самый главный, - сказал я.

- Это ты говоришь, потому как боишься меня? - сказал Каин.

- Нет, - сказал я. - Я тебя не боюсь.

- Это почему? - спросил Каин.

- А я никого не боюсь, - сказал я. - Потому что это бесполезно бояться.

Вдали прошел Молчаливый пилот, и Каин долго смотрел ему вслед.

- А он? - кивнул он вслед Молчаливому пилоту.

- И он тоже.

- А Мария?

- Это вы сами разбирайтесь, - сказал я.
- Ты мое прозвище слышал? - спросил Каин.
- Да, - сказал я. - Каин твое прозвище.
- А что такое каинов цвет, знаешь?
- Нет, не знаю.
- Говорят, это черное с белым в полоску, - сказал Каин. - Вот как у березы. По-твоему, я в России главный. А в мире кто?
- Я, - сказал я.
- А это почему? - удивился Каин.
- Никто не знает, что будет, а я знаю, что будет, - сказал я.

- А что будет?
- Звезда будет, и в пламени мы все отдохнем.
- Это ты точно знаешь? - спросил Каин с насмешкой.
- Точно, - сказал я.
- А если точно, что ж молчишь?
- Бесполезно, - сказал я. - Бесполезно говорить.

Каин посмотрел на меня презрительно и удивленно, и сказал, подумав:

- А ты, парень, может, больший каин, чем сам Каин, если не врешь. А с виду тихий какой, надо же, как притаился.

10.

Тоска зеленая, как глаза

Идет Каин с компанией по широкой улице, это идет вся компания с гиканьем и свистом, с топотом и грохотом, с горем не бедой, сквозь автобусы и трамваи, сметая столбы и прохожих, поднимая пыль до небес, выворачивая дома наизнанку. Словно крыльями, машут они руками, настоящие люди, невыдуманные, тоже герои второй половины двадцатого века.

Нет, не так они идут, а тихо и неприметно, и впереди Каин, и это только заурядному прохожему кажется, что идет он без никого. А сзади наискось поближе к мостовой Календра с рыжим приятелем, а за ними Борька Псевдоним и тоже не один. Ну, какие их идут дела на фоне подсолнуха с синими листьями? Смех и стыд, грех и стыд.

Идет Каин и думает свою думу, какая кругом одна мразь и падаль и желатин, что трудно двигаться, а ты вот король и

прежде всего по нутру, ты поняла ведь, Мария? И пальцем не двинет Каин, чтобы выручить дружка, если тот попал в беду, потому что зачем выручать, если мразь и падаль, а кругом желающие поближе к королю.

Вот Календра, в душе прямой и недалекий, вломился в чужое жилье, чтобы взять кое-что без стука, но наделал шума и погорел, так мне-то что? Бери его, начальник, тащи его, надальник, дурака без подсолнуха, кому он нужен.

Странно Борьке, что горят дружки, а Каину хоть бы что. Но и сказать ничего нельзя — все видит зеленый Каинов глаз. Только хмыкнет Каин уголком рта и перемрут у тебя слова в глотке, как рыба на песке.

Ну, какие это дела? Смех и стыд для такого человека. Тоска зеленая, как глаза.

Идут годы, темны дела и не видно в них человека, и одним женщинам дано его раскусить, да и то с двух сторон.

А как хочется с гиканьем и свистом, с горем не бедой, да вот почему-то все не выходит, и ползет где-то неуловимый шепот, что не Каин ли заклядывает дружков, не в нем ли причина, что люди вокруг него огнем горят и жизни ломаются, как ничто.

II.

Отец Борьки Псевдонима

Отец у Борьки Псевдонима далек от изяшной словесности и не понять ему противоречий этого дела, как это его сын сочиняет стихи, а водится с темными личностями и не боится гулять по ночам в парке культуры и отдыха, где все может случиться. Особенно удивляется отец, когда приходит Календра, стуча сапогами, и здоровается с отцом и жмет ему руку не рукой, а как будто тисками.

— Нет, вы подумайте, — говорит отец. — Куда идет мир, если красивый молодой человек из хорошей семьи имеет друзьями неизвестно кого, сочиняя стихи.

Борькина мать начинает тихонько плакать и идет в кухню мыть посуду или стирать, чтобы скрыть свои слезы за этим занятием.

— Хорошие люди, — говорит Борька, а Календра слушает с

интересом, не понимая намека в своей душевной простоте. — Настоящие люди, не выдуманные, отец.

— А мы что же — ненастоящие? — спрашивает отец с горечью в тоне, но Борька уходит, не объясняя.

И отец идет каждое утро на работу, где он строго занимается бухгалтерией, и считает там целый день напролет и сердито смотрит на людей, для которых считает, сердито за то, что они ненастоящие, и каждый вечер идет домой, неся свое тяжелое тело, в котором сердце занимает все больше и больше места, разрастаясь от непонимания.

12.

Объяснение

Профессор боялся Каина.

— Хотите, профессор, — сказал Каин, — я объясню вам, что есть я?

— Очень, — сказал профессор.

— У кого-то не получается кто-то, — сказал Каин, — и он делает такое вот. Я у него почти, одно только почти. Понимаете, профессор, что значит быть вдоль и поперек почти, с головы до пят?

— Успокойтесь, это от водки, — сказал профессор.

— Это значит убегать, — сказал Каин, — как колдун убегал.

— Понимаю, — ответил профессор.

— Заткнись, — сказал Каин, — Колдун убивал и убегал, и опять, и опять, чтобы не стало вчера и была новая жизнь, каждый день, потому что он тоже был почти.

— Возьмите себя в руки, выпейте, — сказал профессор.

— Страшная месь была ему в виде всадника на белом коне, а мне нет исхода, потому что нет такого дела, чтобы вышла мне через него остановка — все будет не то, а только похоже на то, потому что не выхожу я у него, не получаюсь, кишка тонка в корне, понимаешь, очкастое рыло?

— Что это вы, — сказал профессор.

— И не поймешь, — сказал Каин. — Труха ты, штамповка. По голове тебе дать, что ли.

— Что это вы совсем, — сказал профессор и сделал вид, что

обиделся.

— Не сопи, — сказал Каин, — Не трону.

Он задумался и сидел не то чтобы уставши, а просто крепко замолчавший.

— Вам была бы очень к лицу борода, — сказал профессор.

Каин поднял голову и посмотрел на профессора без внимания.

— Конечно, — сказал он. — Конечно, борода. В самую точку.

— Вы сегодня как-то не того, — сказал профессор.

— Конечно, — сказал Каин, — Конечно, не того. Золотые слова.

— Я имею свой собственный взгляд, — сказал профессор деликатно, — С вашего разрешения.

— Давайте, — тихо сказал Каин, — Давайте сюда и ваш взгляд.

13.

Легион на Невском проспекте

По невской слякоти, по серому асфальту шли голоногие, розовые, в шлемах, с неподвижными лицами — римляне шли, легион.

Мимо витрин и машин, мимо пятиэтажных домов и милиционеров шли голенастые, со щитами, остолбенелые.

— Кино снимают, — сказал Календра.

— А, может, цирк, — сказал Борька Псевдоним.

Каин стоял с Марией и смотрел на легион.

Римляне шли неторопливо, мерно, словно пришли издалека, и идти им еще миллион лет — через неизвестные города, мимо чужих домов и людей, одетых не по-ихнему, шли обомлевшие, однако же уверенные, привычные идти.

Разлетались голуби у них из-под ног. Трепетали в воздухе.

Из репродуктора раздалось:

— Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!

Каин смотрел и смотрел молча, а Мария взяла его руку в свою, взяла и держит, а он не отдернул.

Далеко от лугов Тибра, от синего неба, белой тоги до серого асфальта, усталых троллейбусов, ввысь уходящей Думы и

ярких одежд из синтетиков.

Дернулся Каин, отнял руку.

— Может, кино, — согласился Борька Псевдоним.

— Или цирк, — уступил Календра.

14.

Аутодафе

Слева была Стелла, справа Мария, и камнем между ними Каин.

Пламя белое, пламя черное.

Зов с двух сторон.

И метался между ними Каин неторопливо, с ухмылкой, по случайному капризу, необъяснимый, как порывы бабочки в полете, как пути падающего листа.

— Каин, иди сюда, — звала Стелла, но в голосе была звонкость чуть-чуть сверх, от молодости, от нетерпения, и спиной поворачивался к ней Каин.

— Каин, иди сюда, — звала Мария, но в голосе была хрипотца чуть больше, от зрелости, от нетерпения, и готовый к ней, совсем готовый, вот он, тут, отворачивался Каин, и победно стонала Стелла, взлетая навстречу, как с трамплина в воду, только вверх.

А когда он уставал и лежал пластом, то мирились над ним обе и принимались за него вдвоем, и возвращали в строй.

И только слышно было;

— Каин, иди сюда.

— Каин, иди сюда.

Пламя белое, пламя черное, аутодафе надеждам на ясность и правду.

15.

Щемилов

— Хо у! Хо у! — кричал он вдруг ни с того, ни с сего, шел по Невскому, или здесь, в Упраздненном переулке. И масса народа вздрагивала и оборачивалась, а он шел себе дальше, независимый, как самолет.

Черные волосы падали ему на плечи, и голова сидела на

орлиной шеен пылая черными глазами.

Был он бездомным скульптором, человеком чистого искусства, и приходил в переулок ночевать к своему другу еще по гимназии в Царском Селе, Николаю Васильевичу Копейкину, который служил в научном месте и не имел в своем благоустройстве никаких моральных ценностей, кроме этого бездомного друга.

А Щемиллов, выпив у верного друга крепкого чая, выходил в переулок и там, собрав ребятшек, повествовал им истории, со всех точек зрения бессмысленные.

Когда жена пирожника из Севильи, — с горатыным пафосом начинал Щемиллов, и дети слетались на его голос, как цыплята, — лунной ночью отправилась к Сатурну, чтобы похитить его кольцо и обручиться с черным монахом, крытая карета подъезжала к городу, и единственный странник был в ней — человек с многократно продырявленной шляпой на коленях, И пирожник, и вся Севилья безмятежно опали, не подозревая о надвигающихся событиях, и было тихо, — только стучали копыта арабских коней по бульжникам и погромыхивали колеса кареты.

Щемиллов был единственным человеком в переулке, с кем иногда разговаривал Каин.

И когда появлялся Каин, Николай Васильевич деликатно уходил пройтись, а Щемиллов кричал гостю:

— Хоу, хоу! Милости просим!

Х Х
Х

— И души на совести есть, — тихо говорит, как будто спрашивает, Щемиллов. — И много.

— Не знаю, — говорит Каин. — Это само собой, Я вроде и ни при чем?

— Да, вроде и ни при чем.

— Вот вы понимаете, и еще Мария, а кое-кто не может и лезет как собака, а огрызнешься — пропадет как муха. А зачем лезут? Я их звал? То на животе подползают, глаза к небу, просят, то лают, а я их звал? Звал?

— Звали, — тихо говорит Щемиллов.

— Звал, — усмехается Каин, — так потом ведь прочь гоню, хватит, а они и потом лезут. Вот столько и душ, сколько лез-

ло. Ни одной сверх. Я ведь Каин, но не Иуда. К тебе лезут целоваться, или ты лезешь - это ведь тонкая разница, ее понять надо.

Нет, вы не Иуда, - говорит Шемилов.

- Пойду, - говорит Каин.

- Идите, - говорит Шемилов.

Возвращается Николай Васильевич, копошился в сторонке у окна, а Каин уходил.

И тогда Шемилов долго сидел неподвижно, опустив голову, похожий на уставшего факира.

X X
X

- В кого вы такой, Каин?

- В судьбу.

- Выпьем еще?

- Давайте.

- Дайте подержать руку, Каин. Почему я люблю вас, как себя?

- ~~Вы~~ Врач вы безмездный, ^{без} возвышенная температура.

- Да нет, просто бросьте, бросьте все вообще, и вместе пойдем гулять.

- А куда?

- Да никуда, просто гулять, не надо нам ничего. Ни мне, ни вам.

- Это как сказать.

- Откажемся, погуляем, без надежды жить легко, я знаю, я уже старей...

- Что вы, волк я, куда я пойду? Куда ни пойду - то же будет.

- Вот так...

- Ладно, хватит...

- Возвращался Николай Васильевич, копошился у окна, а Каин уходил.

И тогда Шемилов долго сидел неподвижно.

X X
X

— Хоу, хоу! — раздавался вопль на Невском проспекте и масса народа оборачивалась, встречая взглядами черные глаза и видя старика, похожего на молодого орла.

16.

Как плакал маленький мальчик в Упраздненном
переулке

Он сидел рано утром, очень рано, когда солнце еще не взошло. у края двора. Двор был пуст, и солнце еще не вышло на небо. Мальчик плакал, плакал горько, а из-под ног у него убегал, катился, ~~земной шар~~ земной шар, летящий навстречу солнцу, а над ним на сухой ветке дерева раскачивался воробей. Шар летел, убегал и катился, кружил деревья, и гнались друг за другом, не настигая, города и горы, гребни и сугробы. Весь мир гнался сам за собой, весь мир был занят сам собой.

Вот мальчик встал и начал не спеша, неуверенно и обучаясь, шаг за шагом идти вверх, и он ушел к облакам и скрылся из глаз.

И он не видел, как вышла в этот ранний час из дому Мария, идя на свой аэродром, следом Стелла, идя в профессорский уют, а потом и Каин, идя своей дорогой.

17.

И я, и он, и Мария

— А кто это — святые? Кто это сейчас в радужных кругах нашего общества под синим парусом неба, где у каждого своя игра, свои способности и ухищрения, чтобы иметь свежий воздух и удовлетворение противоположных желаний?

— Я прошел многие улицы нашего города, — продолжал дядя Саша, волнуясь в красноречии, — заходил в квартиры и всматривался в поступки разных лиц, начиная с больших полководцев и кончая самим собой. И я не нашел с чего начать и кто это такие святые сегодня и куда они делись, если были и верить в это?

Мария сидела с нами и всей своей красотой помогала вести разговор на тему, дикую для взрослых, но красотой помогала. И неожиданно сказал Борька Псевдоним, поразив нас своей простотой:

— Это Каин, дядя Саша. Это он и никто другой.

— Менее всего, — сказал дядя Саша. — Наименее всего.

— Это он, дядя Саша, — сказал Борька. — Так как верят в него и я, и он, и Мария.

— Это еще впереди увидим, — сказал дядя Саша угрюмо и сухо.

— Ты не смей, — сказал Борька Псевдоним. — Ты не смей, Если не в него, то в кого? Скажи, Мария, то в кого?

— Хе, — сказала Мария, — темно говорите.

— Нет, вы представляете себе Каина, когда профессией была молодость; а рядом Мария, а еще рядом представьте себе наш переулочек, и вы поймете, почему он был праздником, так что сколько ни ищи, дальше Каина не пойдешь, если искать, чтобы не огорчаться? Почему ты молчишь, Мария? Или неверно?

— Наименее всего, — сказал дядя Саша.

18.

Нежность полны сухорепейная

Если вы хотите понять спираль этой родины и, конечно, ее глаза, то вот что волнует меня среди прочего; зовут нас Иванами, но ах какими разными.

Иванами, родства не помнящими;

Иванами грозными, четвертыми;

Иванами-царевичами;

Иванушками-дурачками;

и венчает их человек, для России невозможный, незамеченный, однако он есть, как вы, как я. — Иван неслыханный, Ванька Каин.

Одному Ивану — воспоминание;

другому — шапка Маномаха;

тому — царевна-лягушка; а тому — так и жар-птица.

Ваньке Каину только одно в удел от родины — нежность полны сухорепейная, только это стелет ему, расстилает.

19.

Ванька Каин выводит тигра погулять

Мимо разинутых окон, мимо разбившегося в воде солнца и зажмурившихся детей вел Ванька Каин полосатого зверя, вел на шнурке погулять.

Девочка прыгала через веревочку — подпрыгнула и замерла в

воздухе; человек выходил из будки автомата — и вскочил назад; постовой схватился за пустую кобуру.

Зверь понимал Каина с полуслова, как верный друг, готовый за него.

— Гражданин, — спросил по долгу службы смелый постовой, — у вас права имеются?

И тигр, конечно, его проглотил.

Трамвай сошел с рельс и в ужасе помчался в сторону, асфальтом. Автобус прыгнул через перила и нырнул.

Каин шел спокойно и вел на шнурке лучшего друга, готового для него на все.

И вот навстречу из-за угла вышел Молчаливый пилот, и тогда тигр стал в нерешительности, потомился, потом дернулся прочь и убежал.

Они встретились — оба рослые, и Каин злобно посмотрел на человека, отнявшего у него друга.

— Я из-за тебя без тигра, — сказал он.

Молчаливый пилот посмотрел удивленно и вдруг улыбнулся этим словам.

— Что ухмыляешься! — закричал Каин. — Отдай тигру!

Но тот посерьезнел и прошел мимо, даже как-то нахмурившись.

— Ну, смотри, — сказал Каин и ушел мимо прыгающей девочки, человека в телефонной будке и постового с пустой кобурой.

20.

Детство Каина

В детстве у Каина, как и у всего человечества, имелась мать с поглаживанием по макушке, завтраком из первых рук и так далее до бесконечности. Был он у нее не первым, однако единственным, поскольку остальные не выжили.

И был Каин, пока не осиротел, сыном почтительным, и только в этом он себя превозмог и, можно даже громко сказать, победил, а во всем остальном был азарт и ставки ставил он выше и выше. И, наконец, когда все его ставки были побиты...

Дядя Саша глубоко вздохнул.

— Да, побиты. Вот и поставит он, думаю я, последнюю ставку: жизнь собственную поставит против всего человечества — не приведи господи, спаси и сохрани от такого азарта. Захотел

сразу все отыграть, в этом принцип — и замыслы, и исполнение. Может, думает он, что увидев такую решимость, будет ему спасение и любовь!? А мог он выиграть, мог, имея в качестве примера как из школы убегал, чтобы за мать пол помыть. Однако не повезло...

X X
X

— Что поделаешь, Каин, — сказала Мария, — ну, что поделаешь.

Он лежал у нее на постели, как мертвая птица, как солдат, павший ниц, как никогда не падает пьяный, а только непьяный, лежал, распластав руки и отвернув лицо.

Больше ничего она не могла сказать, и не смогла, оставаясь собой, а потому повторила:

— Что же поделаешь, Каин.

21.

Стук шагов

Луна взошла и осветила крыши, блеснула на проводах, подернула лужи льдом.

По пустынным улицам шагал Молчаливый пилот, направляясь к Упраздненному переулку, а оттуда навстречу ему из темноты вышел Каин.

Тихо было в городе в эту ночь — позвякивали стекла в окнах на ветру, всплескивала вода в каналах, пошаркивали шаги.

Шаги сблизились и затихли.

— Где Мария? — спросил Каин.

Молчаливый пилот посмотрел немного на этого человека, потом протянул руку, отстранил, и застучали его шаги по тихому городу.

Следом его шагам другие шаги, чуть пошаркали торопливо, и снова тихо, только позвякивали стекла на ветру и всплескивала вода.

— Я тебя спрашиваю, — сказал Каин.

Высоко над ними зажглось окно; зажглось и погасло и снова зажглось.

- Спрашиваю, ведь, - сказал Каин.

Но Молчаливый пилот отодвинул его и прошел.

И снова шаги, а занимаи другие - быстро, сорвавшись, потом шум падения и снова тихо.

А на аэродроме в диспетчерской сидела стюардесса Мария и ждала неподвижно, точно спала, но с открытыми глазами, ждала перемены, не веря в нее, а над ней частой дробью звенело на ветру стекло в окне, и рядом приемник потрескивал азбукой Морзе.

Дверь открылась, вошел Каин и сказал не сразу:

- Пойдем.

Она посмотрела на него и пошла.

Они долго шли по шоссе - он впереди, а она следом, и у Мясокомбината остановились.

- Кончай тут все, - сказал Каин, - и приезжай в Одессу.

- Нет, - сказала Мария, - Нет.

- Говорю, приезжай!

- Что с ним?

- Хе, - сказал Каин. - Ты его что, за вещами посылала?

- Какие там вещи! За документами.

- Хе, - сказал Каин.

- Последнюю ты черту переступил, Ваня.

- Это мы уже слышали, не впервой.

- Меня ты переступил, Ваня.

- На двенадцатой станции буду ждать, у профессора.

- Не могу я, отпусти, Ваня.

- Раньше надо было думать.

- Не могу, после этого совсем не могу.

- На дороге остановишься.

- Нет.

- Как же нет?

- Отойти дай.

Каин смотрел Марии в глаза и думал.

- Хм, - сказал он, выдохнул. - Сюда дошла и дальше иди.

Иди, не оглядывайся. И не ищи - без следа ухожу.

... Над длинным телом на операционном столе тесно стояли люди, похожие на монахов в белом.

- Недели две, не меньше. Недели две, - сказал один.

- А поговорить?

— Недели через две, не раньше.

22.

Отъезд

— Политика — это форма существования бездарности, — сказал профессор.

— Замечательно! — сказал Щемиллов.

— Как скучно! — сказала Стелла.

— Твоему поколению все скучно, — сказал профессор.

— Не все, — сказала Стелла.

— Сорок лет я преподаю с кафедры сложные истины и сорок лет только и слышу: скучно, скучно!

Они сидели в ресторане со всевозможными удобствами, и это было ради дня рождения Стеллы знаком профессорского внимания. И весь ресторан со всей его музыкой, посетителями и гнутыми ножками стульев и столов, научными полками, современными, был для Стеллы и только для Стеллы, и женщины перестали быть женщинами на ее фоне, и потеряли жизнь, а мужчины наоборот.

— Когда волшебным жезлом, — сказал с гортанным пафосом Щемиллов, — францисканский монах прикоснулся к лону распутницы, то она стыдливо прикрыла рукой белую грудь, внося оживление в будущее.

— Почему я, историк, так низко ставлю политику, — перебил его профессор. — Потому что все политики — несостоявшиеся литераторы и в обратном смысле тоже верно.

— Ах, как скучно, — сказала Стелла.

Щемиллов положил на стол свою черную шляпу и оперся подбородком на палку с костяным набалдашником. Он смотрел на Стеллу, восхищаясь, и профессор смотрел на Стеллу, и они не заметили, как к ним подошел Каин. Он остановился около них и Стелла подняла на него глаза, а вслед за Стеллой подняли глаза сначала профессор, потом Щемиллов, потом все в ресторане.

— Здравствуйте, — сказал профессор, — присаживайтесь.

— Каин кивнул Щемиллову и сказал Стелле:

— Я уезжаю.

— И я, — сказала Стелла и встала совсем рядом с Каином.

Каин снова кивнул Щемиллову и пошел прочь, а Стелла за ним.

Щемилов поднял руку ладонью к Каину и несколько раз согнул пальцы, прощаясь.

Профессор растерянно закрыл глаза.

А в ресторане женщины снова стали женщинами, и зашумели притихшие разговоры и притихшая музыка, потому что Стелла ушла.

Они шли по вечерним улицам к вокзалу, шли, не таясь, तो ропливо и врозь.

Профессор сказал Щемилову:

— Ушли. Я умножил Льва Толстого на Ницше, постиг историю и с помощью убедительных доводов пришел к далеко идущим выводам. Я один на всей земле знаю правду о гибели и спасении, но боюсь, а они ушли и от доводов, и от выводов.

— Хоу, хоу, — тихо сказал Щемилов, глядя на пылающие Стеллины следы, и лицо его стало неподвижным от воспоминаний.

Улицы пролетели мимо Стеллы не то как летучие мыши, не то как черные кошки с горящими глазами. На вокзале у кассы была очередь, и Каин обозлился.

Стелла стояла покорная, и в этот момент вошла Мария.

Глаза у нее были как на расстреле у стенки, и все видели. Она подошла и остановилась, и плечи ее ослабели и руки опустились.

— Я вас не понимаю, — сказала Стелла, воскресая от покорности.

— Отчего бы это? — сказали губы Марии.

— Да уж видно оттого, — надменно сказала Стелла.

А Каин засмеялся — легко и сразу.

Он заплатил деньги в кассу и двинулся из зала.

И женщины поняли, что он взял один билет.

23.

Россия

Говорят и пишут, что это равнины, рытвины, раздолье росистое; тройка — дугой ее радуга, и трепет полета, трезвон бубенцов...

Правильно — здорово, чтоб вы сдохли, до чего правильно, но это ведь не все.

Говорят, это рабство, страда и спиртное, и храмы-бутылки с крестами, и страх, и раскол, и рассол...

Правильно-верно, ах до чего верно, но это тоже не все.

Говорят, это Разин, разбой, разгул, кутерьма; ракеты, стрельба, тарарам; заставы в степях и по небу, свист кораблей-метеоров, и скрежет металла в чужих городах...

Так, это, конечно, так, но и это не все.

Россия. Рука ее левая - Мурманск, а правая - Крым; голова в Брест-Литовске, и стружкой крови течет у Охотского моря река Колыма.

- Только слепой, - говорит Щемиллов с гортанным пафосом, - не видит распятия в кресте своего окна и нимба настольной лампы.

24.

Псевдонимы

- Нет, ты прости, - сказал Псевдоним-старший, кладя в сторону газету "Известия" и замуривая глаза. - Как можем мы молчать? Можем ли мы молчать, когда маленькие дети едят безопасные бритвы или ходят по краю крыши?

Борька молчал и чистил ботинки перед выходом в свет.

- Если мой сын уходит писать стихи, - продолжал Псевдоним-старший, открывая глаза, - то я желаю, чтобы был он порядочный и в надлежащем кругу.

- Каин исчез, - сказал Борька.

- А вы у него вроде корма для золотых рыбок! И какие такие стихи, объясни ты собравшимся!

Борька почтительно удалился - смелый еврей в ботинках до блеска.

- Вот что, люди, - сказал отец, закрывая глаза, - как мы можем молчать, когда дети ходят ради нас по краю крыши?

А Борька опускался неторопливо по старой лестнице среди заскорузлых стен цвета воды, примеряя себе под нос стихи в память о пропавшем товарище:

Где ж вы, птицы осенние, где ж вы?

Улетайте туда, где тепло,

Унесите с собою надежды -

Мне с надеждами жить тяжело.

И вышел на улицу, примеряя дальше про Стеллу, белый снег и, конечно, себя.

25.

Отчего Каин в деревне устроил пожар

Каин ласкал Надежду, если только то, что он с ней делал, называется ласкать. Он усмеялся нелепости этого тела, сделанного трудной работой, а также природой, не всей в ее разнообразии, а только той, что выпадает животу, ногам и шее, когда за плечами тяжелый мешок и в руках по ведру, однако без мужа, успев все же произвести на свет божий двоих детей.

Пахло сеном и половой, в щели над головой пробивалась белая ночь, и Каин вдруг заговорил, зная свысока, что она не поймет, но тем более восхитится:

— Они думают, — и заговорил с обидой и даже искренне, — что все в моей воле, что если все мне разъяснить, то мне все станет ясно, и я постригусь и побрежусь, и пойду, размахивая портфелем, на их общее собрание. Рад бы, может, да не могу, не волен я и не туда моя дорога! Тут никто не виноват, даже если притворяется. Ясно, когда трезвый, а я пьян всегда и без водки, я и пью, чтобы отрезветь, да не получается, всё вверх тянется, вверх.

Слушали Каина куры на шесте, слушала Надежда, не понимая чего ему надо, и замирая, и прижимаясь, и чудилась ей рядом какая-то диковинная жар-птица, а не случайный в их деревне проезжий, бог знает кто, откуда и куда, но все бы ему отдать.

— Как тут не понять, — говорил Каин, и со страхом чувствовал, как становится ему мутно, так мутно, что сарай уже не этот сарай, и ночь уже не эта ночь, и все на свете вдруг начало убегать от него со всех ног, и не догнать, не договориться.

— Как не понять, что каждый танцует свой танец и дотанцует его до конца, пока не сдохнет, потому как ключик потерялся, еще когда **пружину** заводили, да и кто его видел, ключик!

Он еще не знал точно, но уже знал, что мутно ему стало неспроста, а, так сказать, передним числом, впрок, а он еще ничего такого не сделал, отчего бывает мутно; и даже не

представлял, но стало быть, уже как бы и сделал.

— Как будто гром, а молнию проморгал, — сказал он вдруг и очень тихо.

— Гром? — спросила Надежда.

— Гром, — сказал Каин убежденно и про себя.

Он снова занялся Надеждой, чтобы отвлечься, но это было не то, только замолчал.

Потом он лежал, оглушенный громом, и пытался понять, когда же это кончится, а потом ему стало неудобно лежать, жестко, что ли, или тесно, и он, не разбудив Надежду, спустился по лестнице вниз и вышел из сарая, стряхивая колючие травинки.

Вокруг было дремотно и мирно, белая ночь была мертвой и пустой, спали люди, скотины, облака. Он закурил и пошел прочь, и все на свете просыпалось от его шагов, разбегалось и пряталось, только звук его шагов был с ним, не покидая.

Отойдя от деревни, он обернулся.

Он посмотрел немного на загоревшийся дом, около которого он закурил, усмехнулся и пошел прочь.

26.

Смерть Ваньки Каина

— Это было так, — сказал дядя Саша, — окруженный погоней, и со стороны властей, и с другой стороны, не имея ни в ком доверия, он скрылся в глухую сельскую местность и ушел один в лес, чтобы не выделяться. Лес был сырой, и Каин с трудом нашел в нем возвышение посуше, и соорудил шалаш под рябиной, чтобы пожить. Километрах в пяти шла через лес узкоколейка, которая кончилась невдалеке станцией Белой с магазином, столовой и сезонниками, текучими изо дня в день. И однажды в шалаше под рябиной увидел Каин сон неожиданного содержания. А именно приснилось ему, будто пришли к рябине деловые люди, ему незнакомые, с лопатами, и скопали дерево, наклонили его в одну сторону, потом в другую, раскачали и выдернули из земли.

— Это зачем? — спросил он, обозлевав, но они ничего не говорили, молчали, взяли дерево на плечи и понесли.

Рябина осыпалась, и Каин крикнул:

- Не примется она, уже в цвету, - но люди молчали и уходили, а он ничего не мог сделать и остался на возвышении, а кругом был лес.

Каин проснулся и удивился сну, тем более, что рябина еще и не цвела. Он лежал и думал про сон, и смотрел на рябину, а потом отвернулся лицом вниз и не вставал, не ел и не двигался, пока не пришла к нему слабость, и все в нем не затихло.

Там и нашли его спустя сезонники со станции Белой, по ягоды ходили, и освидетельствовал его милиционер, и отвезли его на станцию и похоронили.

Х х
Х

- Нет, не так, - сказал Борька. - Ничего похожего, даже странно, какой там сон? А пришли к нему на квартиру свои, то-есть наши, и сказали:

- У каждой работы есть правила, и нам невозможно, чтобы ты жил, потому что мы не знаем, кто ты, и потому нельзя, чтобы ты жил.

И они дали ему веревку и сказали:

- Соверши сам.

А он ослаб и не мог совершить, и они ему помогли.

Х Х
Х

- Брось, - сказал Календра и даже сплюнул. - Брось. Был у меня знакомый из Одессы, говорил, взяли Ивана у них, это он точно знает, что у них, а не в Воронеже, после убийства, как слух был. И брали его в море с катеров, ночью, а по берегу полно было оперативников, чтобы не ушел никак. И он лежал в лодке и стрелял до конца, и взяли его раненого, и дали высшую меру, только в больнице ли он умер или по приговору, знакомый не знал, не уточнил. Это точно, без вранья.

Х Х
Х

- Нет, - сказал Щемиллов. - Он разлился реками, пророс лесами и взошел солнцем в точных пределах, поскольку судьба его не та, что у пирожника или монаха, а покрупнее была и внутри, и снаружи. И нет ли его в нашем пиве, в нашем хлебе и в этом круглом столе?

Х Х
Х

- Нет, - сказала Мария. - Я-то знаю.

Стелла посмотрела на нее как будто с просьбой и сказала:

- Не может быть, Мария.

- Я-то знаю, - сказала Мария.

- А мы? - спросила Стелла и остановилась.

- Придет твой Иван-царевич, - сказала Мария. - Придет, никуда от нас не денется.

А я слушал этот разговор и усмехался, и странно мне было, что они никто не видят, какая - меня усмешка во рту, капризном, как тугой лук.

" НЕ ГОРОД РИМ

ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ " ...

... Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек кремля, акрополя, все равно как бы ни называлось это ядро, государством или обществом. Жажда орешка и какой бы тѣ ни было символизирующей этот орешек стены определяют всю судьбу Розанова и окончательно снимает с него обвинение в беспринципности и анархичности.

.....

... По-прежнему будут стоять европейские кремли и акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди будут смотреть на них, не понимая их, с бессмысленным испугом недоуменно спрашивая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры.

.....

Ныне ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. /.../

.....

/О. Мандельштам. О природе слова. 1922 /

Мимоходом
(из случайных впечатлений)

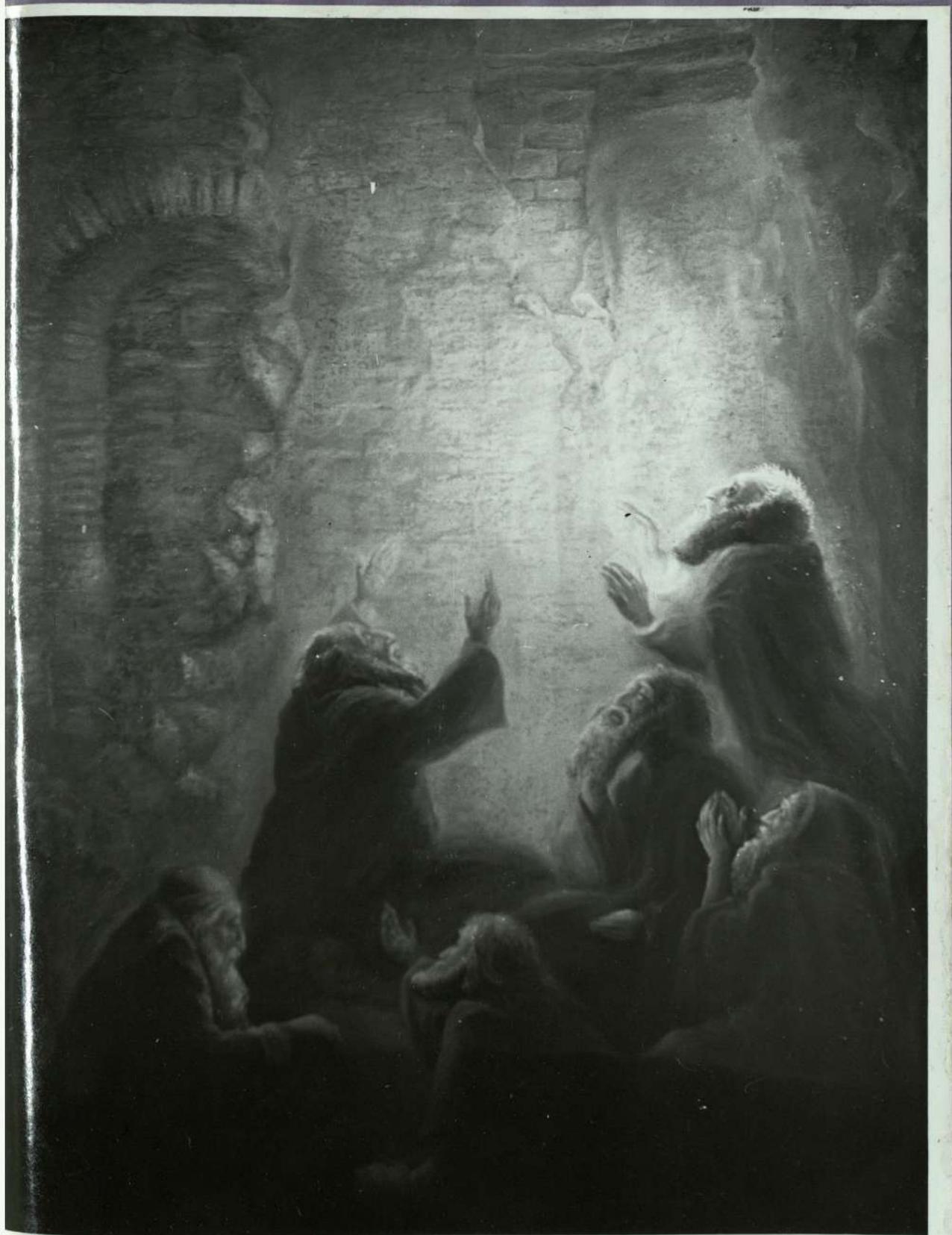
Созерцания очень обширные, наблюдения многолетние иногда, как в фокусе своем, собираются в одной точке, в одной минуте, в какой-нибудь мелькнувшей или даже молчаливой сцене или картине. Тогда она всякий раз припоминается, когда вы обращаетесь душою к давно излюбленному предмету.

Это было лет шесть или семь тому назад. В один из будней самого будничного Петербургского времени, я сел на Введенскую конку, что на Петербургской стороне, чтобы перебраться на Адмиралтейскую площадь, откуда было уже недалеко до места моей службы, на Мойке, Дождь, едва моросивший при выходе моем из дому, все более усиливался, и когда конка остановилась, и я вышел из вагона, дождь шел положительно сильно и неприятно. Развернув зонт, я зашляндил в резиновых галошах по мокрому граниту декадентской Пальмиры, машинально, тупо, гнусливо. И вот уже неподалеку Мойка — и враждебное толстое здание с металлической на фронте вывеской, где я служил. И всегда оно было мне противно, но в этот день — дождливый и когда душа была какая-то особенно усталая — я смотрел на него издали, приближаясь, с особенным отвращением. Чтобы посуше дойти до него, я наметил подняться на высокий гранитный тротуар Мойки (и стоило такую лужу обделявать в гранит!), но впереди меня очутилась еврейская фигура, кажется, еще меньше меня ростом, еще бессильнее, и в чуйке (длиннополом сюртуке, какие присущаются на стрельцах времен Петра Великого, или в каких ходят по самым захолустным базарам приказчики). Дождь, который падал у меня на зонтик, обливал бедную фигуру еврея и тек ручьями у него по спине, плечам и с жалкого картуза. Тротуар Мойки, заметил я, в этом месте (на углу Мариинской площади) очень высок, и поставив ногу на него, еврей сделал скорее кошачье — ловкое движение, нежели львино-сильное, и поднялся на огромную гранитную плиту раньше, чем я подошел сюда. Поднялся и остановился, обернувшись к воде, в каком-то созерцательном настроении. Меня он не видел, да и вообще стоя спиной к домам, предполагал себя совершенно одиноким.

Юлия Лагускер. Прогулка по Мойке. 1988



Юлия Лагускер. Исход. 1985



Клиа Лагускер. Разрушение храма. 1986

... Это был "прасол" по физиономии и костюму, что-нибудь скупающий, вероятно не имевший (для столицы) исправного паспорта, - и вообще утлость существования, "борьба за существование" ярко говорили из его фигуры, из позы, из лица. Он положил старую руку на бруствер набережной и полуоперся на нее. Спина его была очень сутуловата. Лицо не только похоже, но до изумительности похоже на лицо Биконсфильда: и прическа волос, и козлиная бородка, и выдавшиеся скулы. Но главное - усталость! усталость!

...Я сам замер от изумления и остановился, и долго-долго смотрел, как зачарованный, на единственный раз в жизни увиденное пластическое изображение идеи человеческой усталости! Как будто все века исторического бытия повисли на горбе (очень сутуловатая спина) этого еврея, стараясь опрокинуть его назад; но он все же перегнул этот горб вперед, но перегнув - замер, остановился. В одну секунду у меня пронеслось в воображении, что ведь по прямой линии его праотцы брали проценты в Риме Клавдия и Нерона, а другие, еще более дальние предки изображены униженными, просящими, склоненными на египетских обелисках! Вся история жила в стоявшей передо мной фигуре. Я уже не чувствовал дождя, ни Петербурга. Как все это ново и мимоидущие! как стар, исторически стар этот прасол! Даже наши Рюрики и Труворы-моложеватые юноши перед ним. Все - юно, он - старее всего. И "борьба за существование", так ярко говорившая из его фигуры, опять же мне представилась не в зоологическом своем виде, не как гипотеза о происхождении жираффы и белых зайцев, но в каком-то глубоком одухотворении, как Немезида, как Рок, как Бог: Мне почувствовалось, что и надо мною и над ним стоит Бог: но меня он ведет за руку, как мальчика, с которым нечего разговаривать, напротив с этим старым человеком Бог разговаривает уже в силу его исключительной древности. "Что мы все знаем о человеке, что мы понимаем об истории, мы - мальчишки", пронеслось у меня в уме, "если кто и понимает что-нибудь - то вот такие чуйки из этого племени". В самом деле, Салманассар и фараоны, и ассирияне - для него то же, что для нас древляне и кривичи, т.е. понятны внутренним пониманием, а не внешним, долетевшим до слуха, звуком. Для нас, новеньких (говорю о русских), вся история - только алфавит звуковых знаков; через наши жилы не течет кровь, вышедшая из сердца римлян, у нас не бо-

лит дальнейшей болью печень, уже заболевшая в Греции, ни одна извилина мозга не продолжается под нашим черепом, идя без перерыва из черепа Валтасара. А в этом "жиде"... чего, чего в нем нет! Он переспорил Валтасара, ушел с иронией от фараонов: это его законодатель, родной ему человек (поразительно! проразительно!) плавал в осмоленной корзинке в Ниле и его вынула оттуда пришедшая купаться царская дочь! Изображения в наших церквах суть внутренние события из жизни этого народа, — и еще проразительнее станет смысл этого, когда обратишь внимание, что они даже не хотят войти в наши церкви, чтобы посмотреть, казалось бы, с понятным тщеславием: "а ну, как молятся христиане, русские, французы на нашего Моисея, плавающего в корзинке по Нилу". Можно ли представить себе, чтобы русский, француз, англичанин, римлянин, грек, кто угодно, не вошел в чужеродный храм посмотреть на родные свои сюжеты, ставшие там предметом изумления, восхищения, преклонения? Но евреи ни малейшего не имеют любопытства войти и посмотреть, как мы, в сущности, "молимся" (ибо ведь кланяемся) образам Елисея, Ильи, Исаяи, Моисея, "Ионы во чреве китов" — все сюжеты их исторических книг, события семьи их, быта, хроники.

Ученые монографию за монографией пишут о Тмутараканском камне или об элевзинских таинствах, "о которых ничего не известно" (резюме множества трудов), но насколько же интереснее это истинное "элевзинское таинство истории", которое значится под вывеской всего в четыре буквы: "жидь". Мы любим исторические камни: но, Боже, их полустершиеся и иногда совершенно глупого (ничтожного) содержания надписи, что вот такой-то Тиглат — Палассар "совершил четвертый поход в предгорья Армении", — что они значат в смысле занимательности и поучительности сравнительно с бездной, со множеством пересекающихся "надписей", чертящих фигуру, характер и быт еврея, которые только надо уметь прочесть; надо их уметь разобрать, и отнести каждый завиток такой надписи — то к подножию пирамид Египта, то к стенам Вавилона, то к памяти финикийян. В русском мужике сейчас неужели мы не найдем черт Ильи и Добрыни? Да слова об Алеше-поповиче: "У Алеши глаза завидушие, у Алеши руки загребушие" — повторяются и сейчас, как живой портрет. Очевидно, что если обелиск Руси являет те же надпи-

си в 1902 году, что в 902 году - по крайней мере, многие, по крайней мере, коренные - то и обелиск еврейства хранит в 1902 году много-много такого, что уже было на нем написано за 1900 лет до Р.Х., особенно при исключительной внутренней неподвижности и тождестве самому себе всегда этого племени.

В.Розанов

